

ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЛИЦА

ШАГИ
КОМАНДОРА

Пьеса
в трех
действиях

Александр Сергеевич Пушкин.
Наталья Николаевна Пушкина.
Екатерина Андреевна Карамзина.
Василий Андреевич Жуковский.
Николай Первый.
Александр Христофорович Бенкендорф.
Николай Герасимович Устрялов — профессор Санкт-Петербургского университета.
Ефрем, Матфодий — дворцовые ламповщики.
Половой в трактире.

Санкт-Петербург, начало 1837 года.



ДЕЙСТВИЕ
ПЕРВОЕ

КАРТИНА
ПЕРВАЯ

Новогодний (в честь 1837 года) бал. Мраморный лес колонн. Колонны занимают всю ширь и всю глубину сцены. Это не просто Зимний или Аничков, это — символ николаевского каменного века империи.

Появляется Екатерина Андреевна Карамзина. За колоннами мелькнул камер-юнкерский мундир Пушкина.

Карамзина. Александр! (Подошедшему Пушкину.) Полно вам носиться и сорить острозвонной мелочью. Помолчите со мной. (Присаживаются на банкетку.)

Пушкин. Какая вам корысть сидеть подле моего молчания?

Карамзина. Я люблю ваше молчание. Оно обширное и гулкое, как собор. И я не подле, я в нем. В пушкинском молчании можно и помолтиться. Да и вам не вредно побывать в самом себе.

Пушкин. Вы полагаете, я не в себе?

Карамзина. Я могу полагать только то, что вижу.

Пушкин (живо). Разве видно?

Карамзина. Вы дурно говорили с Натали.

Пушкин. Я застал ее со старым Геккереном. В слезах он умолял Натали отаться его сыну. Барон слезлив не в меру, но когда и плачет, то из глаз слонки текут.

Карамзина. Зло, но по делу. Натали не должна была его слушать, а вы не должны были ей выговаривать при всех, да еще топать ногой. Государь обратил внимание на скандал и просил меня вас образумить.

Пушкин (вскочив). Я должен повиниться перед государем!

Карамзина. Полноте! Просто вы хотите улизнуть, чтобы поглядеть, не с Жоржем ли она.

Пушкин (скандируя). Барон Жорж Дантес де Геккерен!. Зачем

государь берет в службу чужеземных глупцов, когда имеет своих?

Карамзина. Вот и позлословьте со мной, коли молчать не хотите. Что скажете об адмирале, что идет об руку с графом Сперанским?

Пушкин. Боится воды, как огня.

Карамзина (смеясь). А сам Сперанский? Он-то сродни вам: просветитель и оратор!

Пушкин. После участия графа в следственной комиссии по декабрю я понял, что слова «оратор», «ораторствовать» не латинского происхождения, а чисто русского — от слова «орать».

Карамзина. И не смешно, и... страшно. Александр!. И по декабрю довольно нам жертв, зачем вы-то нынче лезете на рожон?

Пушкин. Разве и это видно?

Карамзина. Друг мой, в вас все видно. Уговорите Натали уехать в деревню, да поскорее.

Пушкин безнадежно махнул рукой.

Тогда позвольте мне с ней говорить об этом.

Пушкин. Позволяю, да толку не жду: «С волками? Бой часов? Да вы с ума сошли!» И — в слезы. А мне бы нынче в самый раз в бега, как крепостному мужику, которого торгают.

Карамзина. Господь с вами, кто вас торгует!

Пушкин (невесело усмехнувшись). Александр Пушкин, росту два аршина четыре вершка, голубоглаз, рус, бороду бреет, крепостной России, хозяики, росту от Санкт-Петербурга до Охотска, голубоглаза, руса, щеки от забот запали, выставлен на крепостные торги. И Николай Павлович, император, росту от Петровской площади до Алексеевского равелина...

Карамзина (испуганно). Александр! Здесь у каждой колонны уши!

Пушкин (бретерствую). ...глаза с выкатом, щекаст, хочет перекупить крепость на Пушкина, да дает мало, боле надеясь на свою власть, а госпожа Россия дорожится.

Карамзина. Чего ж вы боитесь?

Пушкин. А ну как все же сторгуются?

Карамзина. Милый вы мой, да разве вы в крепости у России?
Вы — сон ее дивный.

Пушкин. За «сон дивный» благодарствуйте. Да только сны о Пушкине в России всяк видит по-разному. Государю этот сон неприятен, но любопытство мешает ему проснуться...

Карамзина. Вы сегодня несносны!

Пушкин. Василий Андреевич Жуковский видит в нем как бы себя, таким, каким бы он хотел быть в жизни, но может быть только во сне: с иными стихами, с иной судьбой. Сон для Василия Андреевича сладостный, и слава богу, что в Петербурге зимние утра долги...

Мимо проходит Бенкендорф. Звякину шпорами, наклоном головы приветствует Пушкина. Пушкин ему отвечает. Бенкендорф скрывается в колоннах. Пушкин живает ему вслед.

Графу Бенкендорфу...

Карамзина (*вскочив, оттаскивает Пушкина в сторону*). Вы безумны! Хотя бы потише!

Пушкин (*понизив голос*). Графу Бенкендорфу он снится как большое дело по розыску свободомыслия в России. После четырнадцатого декабря графу он снится постоянно, для него это сон с продолжением, с доносчиками, реестрами и специальными суммами денег от казны для продления сего полезного отечеству сна...

Карамзина (*прикрывает ему веером рот*). Замолчите, несносный вы человек! Расскажите лучше, как вы когда-то приснились в Одессе Лизанье Воронцовой.

Пушкин. Это был сон летний, навеянный южным полнолунием и шумом волн. В этот сон она вбежала, как в таинственный грот над серебристой пучиной. Утром вспомнила, поехала в Коляске искать этот грот, но не нашла и за дневными покупками забыла про сон... Кавалергарду Жоржу Дантесу де Геккерену...

Карамзина. Не надо, прошу вас!

Пушкин (*упрямо и со злостью*). Жоржу Дантесу, после его первой встречи с Натали, Пушкин приснился как темный штрих при платье красавицы. В эту ночь Данте спал спокойно и улыбаясь. Потом он стал сниться Данте как муж и соперник. Бедный Жорж часто просыпался, пил несогретое красное вино и утром уезжал на дежурство злой и невыспавшийся...

Карамзина. Александр! Прекратите эту игру.

Пушкин (*его понесло*). Наталье Николаевне он снится как должное. Скучно снится. Этот сон для нее обрачивается множеством детей. Он снится ей как воплощенный долг: то ли суправождству, то ли портнихе. (*Бросив взгляд за колонны и раздув поздри.*) Впрочем, иногда он снится ей как Пушкин, приехавший свататься, по выше ростом и в кавалергардском мундире...

Карамзина (*посмотрев туда же, куда и Пушкин*). Вы истинно безумны! Она не с Жоржем, она с государем.

Пушкин (*отвернувшись, спокойно*). Я вижу.

Карамзина. Друг мой, уж коли вы выезжаете, так должны смириться с обыкновенностью светского бытия. Эти колонны столько дворцовых флиртов видели у своих подножий! И ничего.

Пушкин. Вы правы, колоннам ничего. Они каменные.

Карамзина. Вы знаете, о чем я говорю.

Пушкин. Знаю. Да вот беда: со мной в обычайностях случается необыкновенное. Давеча, у Вяземских, после чая я откинулся на диван и стал постукивать ладонью по проступившей пружине. И вдруг услышал, как в руке замирает колокольный звон. Все обыкновенно: и чай, и диван, и пружина,— а ладонь уже не ладонь, а свод колокольни Ивана Беликого, когда там ударили набат, а внизу, под звонами, Гршка Отрепьев мечется.

Карамзина (*тихо*). Вы сами необыкновенность в обычайном!

Пушкин. Или вот еще... Вы ничего не слышите, когда приближается государь?

Карамзина. Нет. Ну, шпоры позвякивают, когда его величество при шпорах. Да ведь шпоры у многих. А так, особенного...
Нет, ничего.

Пушкин. А у меня в ушах шаги командора. Каменные шаги.
Словно па меня мое собственное надгробие надвигается.
Карамзина (защищаясь улыбкой). Да вы Дон Гуан! И шаги командора в ушах, и список ваших прелестниц недавно открылся в альбоме Элиз Ушаковой.

Пушкин. Опа что же, пынче дает читать эту стародавнюю шалость всем?

Карамзина. Зачем же всем? Но я читала.

Пушкин. И теперь изменились ко мне?

Карамзина. Нет. Просто я подумала, что, когда много женщин — это тоже одиночество. Александр!.. Только со всей откровенностью. «Катерина первая» в списке... не я?

Пушкин отрицательно качает головой.

А я?..

Пушкин. «Катерина вторая». Великая! (Склоняется к ее руке.)
Карамзина. Тогда вы были юны, а я почти в ваших нынешних летах. Наверное, в этом было и чудо и прелесть...

Пушкин. Вы и так хороши, а сейчас захорошелись вдвое.

Карамзина (приложив ладони к щекам). Друг мой! Такие воспоминания красят. (Увидев что-то за спиной Пушкина.) Сюда государь с Натали!

Пушкин (не оборачиваясь). Я слышу.

Карамзина (встревоженно). Шаги командора?

Пушкин соглашенно кивает. Некоторое время оба стоят молча, словно прислушиваясь к себе. Из-за колонн выходит Николай об руку с Натали.

Николай. Вот тебе твоя жена, Пушкин. Вези домой сей бесценный дар. У пей голова болит, и инохательные соли не помогают. (Оставив Натали, отводит Пушкина в сторону.) Что ж это ты, друг мой, а?.. (Укоризненно качает головой.) Понимаю твою ревность, да ведь держать себя надо!

Пушкин. Государь! Барон Геккерен...

Николай (перебивает). Знаю, знаю! Да пустое все это. Неужто я тебя дам в обиду? Дурно обо мне думаешь, Пушкин. Погляди-ка на меня!.. Ну, постыл?.. Да, никак, у тебя в глазах просьба?

Пушкин. Две, государь. (Улыбнувшись.) В каждом глазу по просьбе.

Николай. Лукав ты, Пушкин. Ну, говори.

Пушкин. Дозвольте не являться более в камер-юнкерском мундире. Сей мундир юнцам приличен, а в мои лета...

Николай (перебивает). Твои лета тут ни при чем. Хочу, чтоб камер-юнкерский мундир Пушкина па все-глаза мозоли набил. Тогда и жаловавшая перемена видней будет.

Пушкин. Перемена, государь?

Николай. Об том не тепорь. Ну, а во втором-то глазу у тебя что?

Пушкин. Государь! Его спятивство граф Бенкендорф...

Николай. Погоди! Граф где-то здесь был, сейчас все и уладим... (В сторону колонн.) Александр Христофорыч!

Из-за колонн выходит Бенкендорф, подходит к ним.

(Кивает на Бенкендорфа.) Ты так и величаешь его «граф», «ваше сиятельство»?

Пушкин. Так, государь.

Николай. Зря! Граф демократ и любит, когда подчиненные с ним запросто: «Александр Христофорыч», и все тут.

Бенкендорф приветливо улыбается.

Пушкин. Вы забыли, ваше величество, я не в подчинении графа, я под надзором его.

Николай. Ну-пу, оберни все шуткой. Так, говоришь, не дозволяет граф печатать «Песни о Стеньке Разине»?

Пушкин. Вам известно уже об том, государь?

Николай. Выходит так, друг мой. И запомни: ты не у Александра Христофорыча в подчинении, ты у меня в дружбе. А стихи твои отменны!..

«Стал воевода
Требовать шубы.
Шуба дорогая;
Полы-то новы,
Одна боброва,
Другая соболья.
Ему Стенька Разин
Не отдает шубы.
«Отдай, Стенька Разин,
Отдай с плеча шубу!
Отдашь, так спасибо;
Не отдашь — повеншу!..».

Бенкендорф (*приветливо улыбаясь*).

«Что во чистом поле,
На зеленом дубе
Да в собачьей шубе!..».

Николай. Такие стихи в память сами вливаются, Пушкин. Тут не твоя вина — вина твоего гения.

Пушкин. Государь!..

Николай (*перебивает*). Не благодари! Благодарить я должен, за истинное наслаждение благодарить.

Пушкин. Неужто они наконец свет увидят?

Николай. Пушкин! О чем я должен думать? Об отечестве или о своих наслаждениях? То-то! Можешь не отвечать, знаю, что скажешь: об отечестве!

Пушкин (*не без иронии*). Об отечестве, государь.

Николай. Ироничность твоя напрасна. Истинно об отечестве! А для отечества стихи сии нынче не надобны, боле того, вредны они.

Пушкин. Но чем, ваше величество? Сколько я в них пи вчитывался, не могу найти крамолы!

Николай. Ты не найдешь — другие пайдут, в том и беда наша. Виселица-то на Кронверке еще в голове у многих. А ты: «Отдашь — спасибо,
Не отдашь — повеншу!..»

Бенкендорф (*приветливо улыбаясь*).

«Что во чистом поле,
На зеленом дубе
Да в собачьей шубе!..»

Пушкин. Я не имел в виду виселицу на Кронверке, государь. Николай. Знаю. Потому и благосклонен к тебе. А за всех ли в России ты ответ можешь держать? Коли мне на ум могло насть такое, Александру Христофорычу, почему и другим не падет? Тут и вредность стихов твоих. Невольная вредность, понимаю, да все вредность!..

Пушкин. Я повинуюсь, государь.

Николай. «Повинуюсь», «повинуюсь!.. Да зачем мое твое повинование? Мне воспятьдесят миллионов повинуются. «Повинуюсь» да «слушаюсь» мне не в редкость, мне дружба в редкость. Изволь, я скажу Александру Христофорычу, чтоб не чинил тебе препятствий в печатании «Песен о Разине». Изволь! Александр Христофорыч!..

Бенкендорф. Я распоряжусь, ваше величество. Государство от того не покачнется.

Николай (*Пушкину*). Но по дружбе тебя самого прошу не печатать. Прощу, Пушкин! Не приказываю, нет, прошу! Конечно, государство от того не покачнется, Александр Христофорыч прав, но разговоры пойдут да шипильки мелкие... А? Зачем это нам с тобой? Ну, друзьям читай в крайности, чтоб у тебя самого чувство было, что не зазря трудился. А напечатать успеем! Чай, не на год, на века пишешь. Ну как?

Пушкин. Я не стану их предпринимать в печать, ваше величество.

Николай. А стихи отменны! Прекрасные стихи! Как это...

Бенкендорф.

«Стал Стенька Разин
Думати думу:
Добро, воевода,
Возьми себе шубу,
Возьми себе шубу,
Да не было б шуму!»

Николай. А?.. Каково!.. (*Смакуя.*) «Шишубу»!.. «Шишуму»!..
Я горжусь тобой, Пушкин! Да, все хотел спросить: как твои
дела с материалами к истории Петровой?

Бенкендорф. Материалы почти собраны, ваше величество.
Нынче же Александр Сергеевич собирается приняться за их
литературное изложение.

Николай (*Пушкину*). Верно ли?

Пушкин. Да, государь.

Николай. С богом! Познакомишь меня со своими мыслями на
сей счет, да не пренебриги и моями. Я скажу через Жуков-
ского, когда тебе быть ко мне. Прощай! (*Скрывается за колоннами.*)

Бенкендорф. Вы благоразумно ведете себя, Александр Сергеев-
ич. Его величество искренно к вам расположеен, поздравляю.
Я счастлив, что стану первым читателем исторических тру-
дов ваших. Счастлив не по службе, по сердцу счастлив, по-
верьте.

Пушкин. Я же счастлив, ваше сиятельство.

Бенкендорф. Да полноте вам!.. «Сиятельство», «сиятельство»!
В России сияете вы, а мне выпала черпая роль: быть тучей
при вас, закрывать порой ваше удивительное сияние. Да что
поделаешь! В службе, как и в любви: сердцу не прикажешь.
Вы сами это поймете при вашей новой должности историо-
графа: сердце будет тянуться к одному, а служба обяжет к
другому.

Пушкин. Я же в службе, ваше сиятельство! Я по сердечному зо-
ву принялся за изучение петровских документов.

Бенкендорф. За этот ваш «сердечный зов», Александр Сергеев-
ич, государь вам вот уже скоро пять лет как выплачивает
по пятисот рублей жалованья в месяц. Жалованья, Александра Сергеевича, не испытана. А коли жалованье, то, значит,
и служба. Вы уж пять лет как в службе, да не догадывались
об этом. А нынче пришла пора понять вам, что слу-
жите.

Пушкин. Я же Булгарин, ваше сиятельство.

Бенкендорф (*с укором*). Александр Сергеевич! Да как же вам

не совестно себя равнять с Булгариным! (*С грубоватой до-
верительностью, как своему.*) Булгарин у меня в Третьем
отделении при подлостях состоит, в услужении, а не в служ-
бе. Он нам не ровня. А мы с вами служим государю, си-
речь — отечеству. Вспомните, что ваш покойный тезка,
Александр Сергеевич Грибоедов, писал: «Служить бы рад,
прислуживаться тошно!..» Булгарин прислуживается, да ему
не тошно: уж натура такая! А вот «служить бы рад» — сие у
Грибоедова сказано всерьез, с пониманием о долге. Долг,
Александр Сергеевич! Сердце рвется к одному, а нельзя!
Схватишь его словно руками, сожмешь, не пустишь... Боль-
но, а долг! Долг у таких людей, как мы с вами, впереди
сердца, Александр Сергеевич. Простите, что себя с вами рав-
няю, да ведь служба у нас теперь одна: государева. Честь имею! (*Звякнув шпорами, скрывается за колоннами.*)

Пушкин остается в растерянности. К нему подходит Ка-
рамзина.

Карамзина (*тихо*). Ну что? «Ужасно пожатье каменной дес-
ницы»?.. Что ж вы «О, дона Анна!» не кричали?

Пушкин. Дайте срок, ужко закричу!

Натали (*Пушкину, держа пальцы на висках*). Велите подать
санки!

Поклонившись, Пушкин уходит.

Карамзина (*к Натали*). С Новым годом вас, друг мой.

Держа пальцы на висках, Натали приседает в пебрежном ре-
версансе.

Больно?

Натали. Страсть какая мигрень разыгралась.

Карамзина. Вам бы отдохнуть от петербургской суэты. Попро-
сите государя, чтоб он велел Пушкину в деревню ехать.

Натали. У вас с Пушкиным об этом разговор был?

Карамзина. И об этом.

Натали. Поди, корил меня за то, что я не хочу жить в сугробах, с волками?

Карамзина. Не скрою, корил.

Натали. Я просила государя отпустить нас в Болдино. Пушкину там пишется легко.

Карамзина. Что ж государь?

Натали. Сказал, что деревенская типшина к философствованиям располагает, а Пушкину не философствовать надобно, а трудиться для пользы отечества. Ему предстоит труд по истории Петровой, и государь на него уповаёт.

Карамзина. Александр знает о вашем разговоре с его величеством?

Натали. Зачем ему знать еще об одной своей певоле? Пусть эта неволя будет ему от меня, все легче.

Карамзина. Простите меня великодушно.

Натали. За что? За то, что вы обо мне дурно судили? Обо мне все дурно судят.

Карамзина. Да, правда. Вас почитают надменной.

Натали. Не я, моя красота надменна. А меня за неё вовсе не примечают. На балах моя красота так прирастает ко мне, что мне ее и дома с каждым разом сбрасывать все трудней.

Карамзина. Я в удивлении: вы всегда так молчаливы!

Натали. Я вам откроюсь... Когда мы только переехали в Петербург, Александр мне велел быть молчаливой в свете. Я, мужняя жена, и подчинилась.

Карамзина. Я не знала, что он такой деспот!

Натали. Нет, он прав.

Карамзина. Да зачем же прав?

Натали. Когда женщина хороша, но молчит, про нее только и скажут, что хороша. А коли она при красоте еще и ум обявит, про нее непременно скажут: дура!.. (*Прикоснувшись к руке Карамзиной.*) Скажите, коли мы уж перешли с вами на откровенность... Вы... ничего не слышали о каком-то донгуанском списке мужа в альбоме Элиз Ушаковой?

Карамзина. Я читала этот список.

Натали. Сколько там имен?

Карамзина. Тридцать семь.

Натали (*рвет кружевной платок*). Кто же они... эти дамы?

Карамзина (*улыбнувшись*). Разве всех упомниши! Одно могу сказать, что Пушкин богаче России: у России было две Екатерины, у Пушкина — четыре.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Кабинет Пушкина. Письменный стол в бумагах, стеллажи с книгами. Подле одного из стеллажей — диван с замятой подушкой. На диване разложены раскрытие в нужных местах книги. Две двери: одна в прихожую, другая в гостиную.

Утро. Пушкин по-домашнему, в шлафроке,— за письменным столом. Из гостиной тихо входит Натали. Видно, что она недавно от сна.

Натали. К тебе можно?

Пушкин (*не отрываясь от работы*). Войди, мой ангел.

Натали. С добрым утром, Пушкин.

Пушкин. Целую кончики твоих крыльев.

Встает за спиной Пушкина, Натали читает через его голову то, что он пишет. Потом подходит к дивану, садится, осторожно сдвигнув книги. Смотрит на Пушкина.

Натали. Зачем ты давеча любезничал со старухой Карамзиной?

Пушкин. Друг мой, да какая же она старуха?

Натали. Ей, видно, к пятидесяти.

Пушкин. Да ведь хороша еще. И умна.

Натали (*упрямно*). Старуха.

Пушкин. Кто из нас венецианский мавр Отелло?

Натали. Я!

Пушкин. Может статься, ты меня и прирежешь?

Натали. Коли будешь нежничать со старухами, которые «еще

Хороши», — может статься, и приреку. Вот видишь! А в съёте считают, что я холода.

Пушкин. Просто, душа моя, ты носишь свою красоту, как вицмундир, застегнутый на все пуговицы. А под застегнутым вицмундирем трудно разглядеть сердце.

Натали. Ты разглядел.

Пушкин. Потому ты и моя жена. Ты ко мне с делом?

Натали. Я к тебе запросто, без красоты, с одним сердцем.

Пушкин (отложив перо, смотрит на Натали). Я рад.

Натали. Я знаю! И еще я знаю: есть страна «Пушкин». Своди меня туда, а?

Пушкин. Она за забором, а забор высок.

Натали. А ворота?

Пушкин. Ворота на замке, да ключ куда-то задевался.

Натали. Ты давно там не был?

Пушкин. Все педосуг. Да и пыль не стоит: поди, там пыли набилось во все щели.

Натали. Никакой пыли. И березы свежи!

Пушкин. Ты что ж, прыгнула через забор?

Натали утвердительно кивает.

Тогда и я следом. (Помолчав.) Ну как?

Натали. Сколько берез! Как у дедушки в Полотняном заводе. Это красиво.

Пушкин. Это банально, мой ангел. Зато под березами гремят ручьи. Они тоже были бы банальны, кабы не это... слышать?

Натали. В ручьях живет рифма?

Пушкин. Ты не глуха на рифму, это мне в радость.

Натали. А над ручьями сидят женщины, которых ты любил. Тридцать семь штук.

Пушкин (несколько смущен). Видишь ли...

Натали (перебивает). И видеть не хочу. Пойдем дальше.

Пушкин. Можно, я им хоть рукой помашу?

Натали. «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?»

Пушкин. Изволь, и рукой махать не стану.

Натали. А зачем ты кустарник постриг по-англики?

Пушкин. Чтоб видней был дуб с золотой цепью.

Натали (всплеснула руками). Да ведь ошейник на цепи разом-кнут! Ученый кот ушел.

Пушкин. Что делать? В стране «Пушкин», видно, стоит март, ученья кот и ушел гулять по марту.

Натали. Это он сейчас сказал басом: «Все всуе и втуне!»?

Пушкин. Видно, он.

Натали. Зачем ты не сочинил ему равной кошки?

Пушкин. За молодостью, мой ангел.

Натали. Вот он и бродит сам по себе.

Пушкин. Ничего, в апреле страсти улягаются и слова можно будет ходить «по цепи кругом».

Натали. Пушкин, ты у меня великий?

Пушкин. Про то потомки скажут.

Натали. Зачем же памятник тебе?

Пушкин. Страна «Пушкин» с лицейских стихов началась. Видно, юное мое тщеславие и о памятнике позаботилось.

Натали. О чём задумался памятник Пушкину?

Пушкин. Что тяжко служить памятником: руки закованы и головы не вскинуть.

Натали. Я знаю другую дорогу, не к памятнику.

Пушкин. Ты и без меня бываешь в стране «Пушкин»?

Натали согласно кивает.

И все через забор?

Натали. Да ведь ключ куда-то задевался!

Пушкин. Ну что ж, пошли. Куда поведешь меня?

Натали. В звучащую тишину. Там можно стоять и слушать себя.

Пушкин. Славно!

Натали. Пойдем через туман?

Пушкин. То не туман, то спы. Обойдем-ка их лучше.

Натали. Не смей от меня таиться и в снах!

Пушкин. А ну как они не добры?

Натали. Зачем же мне одно только доброе от тебя? Я и полови-
ну недоброго могу взять на плечи.

Пушкин. И то правда! Плечи у тебя покаты, недоброе с них и
скатится.

Натали. Александр, это дерзость.

Пушкин. Прости, мой друг. А сны лучше обойдем.

Натали. Нет!

Пушкин. Да ведь там не женщины.

Натали. Так зачем же тебе от меня таиться? Я уж по глаза в
тумане. Что за сон здесь?

Пушкин. О тебе.

Натали. А сказал, что в снах нет женщин!

Пушкин. Прости! Одна и во всех.

Натали. Что же приснилось Пушкину?

Пушкин. Жена, жар-птица, протянула ему руку в бальной пер-
чатке. В волнении он начал стягивать перчатку. Текла упру-
гая, шелковистая кожа, продущенная от перчатки жасми-
ном. Он припал губами к этой белизне и вдруг заметил кисть
своей руки. Рука была не его — смуглой, с легкими завитка-
ми русых волос из-под манжета, — а белой, пухловатой, под
обшлагом кавалергардского мундира. Жена похвастывала
призыно, и он посмотрел на нее, как никогда не смотрел,
когда они стояли рядом: сверху вниз, на нее, высокую... Он
проснулся и понял, что видел чужой сон. (Помолчав.) Испу-
тило «в руку».

Натали. Пушкин! Уйдем отсюда. Почной туман рассеется и бог
с ним!

Пушкин. Изволь.

Натали. Нет. А что в другом тумане?

Пушкин. Другой сон.

Натали. Пусти меня и в него.

Пушкин. И он недобрый.

Натали (встав с дивана, опускается перед Пушкиным, кладет
голову к нему на колени). Пусти! Ну?.. Что теперь присни-
лось Пушкину?

Пушкин. Прости, лгать тебе не умею... Оп... репетирует дуэль
перед зеркалом в прихожей.

Натали (растерянно). Почему?.. Зачем же дуэль?

Пушкин. Так уж приснилось. Пойдем отсюда?

Натали (с трудом). Нет.

Пушкин. Два Пушкина одновременно поднимают пистолет и
целят друг в друга. В прихожей крутится снег, смешиваясь со
снегом в зеркале. От долгого прицеливания морозный спус-
ковой крючок тает под пальцем. Палец перестает чувство-
вать упор, крючка словно и не было. Можно пошевелить
пальцем, но он не шевелит... На всякий случай... Видишь,
сколь велика полоса тумана?

Натали. Что это значит?

Пушкин. Что этот сон ему снится часто. Пойдем?

Натали (тихо). Нет.

Пушкин. Изволь!.. Давеча Пушкин в зеркале опередил его и
поднял пистолет первым.

Натали (ескочив). Пойдем!

Пушкин. Друг мой, у тебя глаза стали с другого лица. Испу-
галась?

Натали. Очень!

Пушкин. Да ведь я успел проснуться!.. (Усмехнувшись.) На-
против, в креслах, сидел государь. Он крутил в руке лорнет.
Потом приложил лорнет к верхней губе и лорнет обернулся
петровскими усиками, накладными. Николай Павлович встал,
его фигура начала расти. Достигнув потолка, голова раство-
рилась, как облако. Передо мной стоял императорский мун-
дир. На согнутой в локте руке мундир держал императорс-
кую голову. Я не удивился, я знал, что голова у Николая
Павловича съемная: по утрам он ее снимал, с заботой паче-
сывал вперед бакенбарды и надевал только к выходу. Он ее
не доверял никому и носил сам. Вдруг меня осенило: госу-
дарь решил, что у меня тоже съемная голова. Я заметался...

Натали. Александр!

Пушкин. И проснулся еще раз. В комнате дышал кто-то чужой.

Я прислушался. Дыхание было резкое, мужское, не твое, мой

ангел. Я слушал не шевелясь. Потом догадался, что дышу я сам. Просто на мгновение в комнату вошел Пушкин из зеркала.

Натали. Что за странная игра с самим собой?

Пушкин. Есть итальянская поговорка: «Тот, кто играет сам с собой, всегда в выигрыше»... Не волпуйся, душа моя, я не стану гоняться за собой с пистолетом: неловко представать перед богом запыхавшись.

Натали. Только это?

Пушкин (помолчав). Нет. В России Пушкин не может убить Пушкина.

Раздается стук в дверь, ведущую из прихожей.

(Вскидывает голову.) Кто ко мне?

Голос за дверью. Александр, это я.

Пушкин (тихо, с удивлением). Жуковский?.. (К Натали.) Поди, друг мой, отдохни, а то я притомил тебя своими сказками.

Натали выскакывает в гостиную. Снова стук в дверь.

(Поднимается от стола.) Войди, Василий Андреевич!

Входит Жуковский.

Ба! Ты что при параде в такую рань?

Жуковский. Прости за несговоренный визит, Александр, но я от государя.

Пушкин. Садись, царедворец. (Освобождает ему место от книг на диване.)

Жуковский (садится, смотрит на Пушкина). А ты что с утра взъерошен?

Пушкин. Да вот... снами делился с женой. А сны нынче у меня дурши.

Жуковский. Главное, чтоб не «в руку»!

Пушкин. В руку, да не в одну: в шесть рук с женой и Дантеом на одних фортепианах играем.

Жуковский. Про то и сны?

Пушкин. От столь громкой музыки и в снах не спрячешься.

Жуковский. Да ведь Данте окрутился с сестрой Натальи Николаевны, что тебе еще надоено?

Пушкин. А перед тем, получив от государя приказ жениться на Катрин, полетел свататься к княжне Барятинской!

Жуковский. А женился все же на Катрин и нынче в родстве с тобой.

Пушкин. Да ведь вынужденное для него родство мне рук не вяжет.

Жуковский. Александр! Ты что задумал? Неужто тебя так сбесил давешний разговор старого Геккера с Натали?.. Двор советует тебе быть благоразумным.

Пушкин. Совет этот гроша не стоит, он без хвоста и головы, не за что и ухватиться.

Жуковский. И все же...

Пушкин (перебивает). Ты с тем и приехал ко мне?

Жуковский. Нет, это я так, к слову.

Пушкин. Да и я про «Геккеров»... к слову. Что государь?

Жуковский. Ждет тебя в три часа от полудни.

Пушкин молчит.

С чем пожалуешь?

Пушкин. С Пушкиным.

Жуковский. Я серьезно.

Пушкин. И я не шучу. Соберу том не допущенного в печать и пойду с «Пушкиным» в руках. Пусть подпишет, коли в цензоры пабился.

Жуковский. Не дури! Государь к тебе милостив, сам знаешь. А «Песни о Стеньке» и правда поздавать несвоевременно.

Пушкин. Мне Александр Тургенев рассказывал... Когда Буонарроти выставил госпожу де Сталь из Парижа, она уже успела издать свою «Карину». Тираж изрубили саблями жандармы, а министр полиции отписал де Сталь: «Ваша книга замечательна, но несвоевременна: в ней ни слова не говорится об императоре». Вот, Василий Андреевич, какова на деле-то «своевременность» и «несвоевременность» трудов наших.

Жуковский. Александр! Мне все кажется, что пшильками ты стараешься прикрыть свою любовь к государю. Зачем? Люби открыто. Государь умеет отличить пылкое заискивание от подлинного чувства к нему.

Пушкин. Я-то открыт, а вот он закрыл мне все пути. Зачем в Европу не пускает?

Жуковский. С твоим характером в Европе ты вовсе свихнешься. И в России простор.

Пушкин. Да-да, это у нас от глупости до глупости рукой подать, а от мысли до мысли по пятисот верст ехать надо. Ты прав: простор.

Жуковский. Я в тебя подушкой кишу!

Пушкин. Ты редко бываешь, Василий Андреевич, но коли бываешь, так мягко.

Жуковский (подняв руки). Сдаюсь! Да все думаю, что пешего тебе по Европам горизонты искать. Горизонтов с тебя и у нас довольно: ты не Байрон, ты — Пушкин.

Пушкин. Беда-то в том, Василий Андреевич, что горизонты у нас уже все расписаны: за графом Александром Христофоричем — литературный горизонт, за графом Носсельродом — политический, черноморский под графом Воронцовым истомился. В России горизонтами ведают люди графского достоинства.

Жуковский. Попимаю твою горечь, Александр. Да, видно, у государя и на тебя горизонт припасен. Николай Павлович воистину уповаает на твою историю Петрову.

Вскочив, Пушкин зашагал по кабинету.

Да не постыл ли ты к пей?

Пушкин. Другое, Жуковский, другое!

Жуковский. Послушай, Сверчок, я примечаю, что-то суётится в тебе...

Пушкин. Сердце.

Жуковский. Нет, сердце в тебе не суётливо. Что-то другое в тебе мечется, дергает тебя в разные стороны. По откровенней чай со мной, а?

Пушкин. Государь больно добр ко мне. К добру ли?

Жуковский. Каламбур твой дурен. А государь искренно к тебе привязан, поверь мне.

Пушкин. Чем привязан? Не той ли веревкой, из которой потом пёглю совет?

Жуковский. Дурное несешь, и слушать не хочу!

Пушкин. Что ж в откровенность набивался, коли слушать не хочешь?

Жуковский. Душу твою понять хочу. Господь бог заварил в тебе гений, как в сосуде, и ты должен...

Пушкин (перебивает, соглашаясь). Должен, должен... «Суд» должен уже сверх десяти тысяч! «Суд» сей из плоти, а плоть задыхается от долгов и желания жить роскошно. Вон, один извозчик Савельев с меня помесячно триста рублей дерет за подачу четверки к выезду!

Жуковский. А о-двуконы ездить не можешь?.. Ах да! Пару — под красоту Натальи Николаевны, пару — под пушкинский гепицкий. Ты прав: меньше как четвериком и не свезти!

Пушкин. Тут уж я поднимаю руки, да ничего поделать не могу!

Жуковский. Изволь. Я поговорю с его величеством о твоих долгах, коли в том причина твоих метаний.

Пушкин. Да кабы в том! От похвал государевых, от императорского благорасположения мечусь.

Жуковский. Так что же, тебе легче было бы в Петропавловске, в равелине, под замком да штыком?

Пушкин. Жуковский, душа моя, легче! Поверь, легче! Государь в тебя похвалу, что сахар и чай кидает. А ты, подлый, растворяешь ее в себе и сам чувствуешь, как сладок да угодлив становишься... Чем больше тебя хвалят, тем больше хочется угодить. И вот уж из тебя Булгарин лезет с верноподданническими стишками в зубах! (Схватив со стола листок, выворяется из камин.)

Жуковский (всплеснув руками). Сумасшедший! И прочесть не дал! (Пытается выхватить из камин листок.)

Пушкин. Брось, Василий Андреевич. Слава богу, хоть одна угодность прахом стала.

Жуковский. Вот и выходит, что я верно сказал: ты колкостями свою любовь к императору покрываешь.

Пушкин. Еще при восшествии Николай Павлович дал мне понять, что перо мое прочит себе в оперение. Боле того, дал понять, что перо мое будет главным, опирающим молодого орла о воздух при взлете. Лестно, Василий Андреевич! Аи перо-то никак пристри к двуглавому орлу не может. Ему бы выпасть, на деревенский стол, в отставку, по ему пежко не разрешают. Заметь, Василий Андреевич,— нежно! Его просят не выпадать. А коли сила просит — ей не поперечишь. (*Не без грустной иронии.*) Вот и остается возлюбить силу.

Жуковский. Коли сила просит — значит, она честна, она не хочет пользоваться своим превосходством. Я вот что тебе скажу, Сверчок...

Пушкин (*перебивает*). Василий Андреевич! Ты меня моей арзамасской кличкой кличешь, молодостью моей, да молодость-то отошла вместе с «Русланом». Пынче все другое, пынче я и мгновения ощущаю иначе, вещественней: каждый толчок крови во мне — мгновение. Даже когда сижу в креслах, задумавшись, ощущаю в самом себе бег времени. Да вот беда: с каждым толчком крови становится больше прошлого и меньше будущего. Мельше, Жуковский! А Николай Павлович мне что повязка на глазах: к зрелости моей я за пим Россию перестаю видеть!

Жуковский (*почти заговорщицки*). История Петрова — вот тебе ход в Россию. Люди славные, а время далекое — вольничай себе всласть. Кто тебя осудит за прошлое? А государю, видно, приспело иметь на столе историю праштура, описанную живо и в лицах.

Пушкин. Ты либо воинству прост, Василий Андреевич, либо прикидываешься простым.

Жуковский. Ты дерзок ко мне, Александр. Ну да бог с тобой!

Пушкин. Жуковский!. (Обнимает его.) Прости!

Жуковский. Я и не сержусь!

Пушкин. Верно ли?

Жуковский. Ты небрежен к друзьям, Александр. Зато для друзей своих ты стал безусловен. Заметь, с тобой уже не спорят, тобой восхищаются.

Пушкин (*не без иронии*). Да, да!.. Вселенская бездарность Нестор Васильевич Кукольник тоже для друзей своих стал безусловен. Заметь, с ним уже не спорят, им восхищаются. Здесь Жуковский да Вяземский, там — Салтыков да Богомазов, здесь Виельгорский, там — Глинка. А поскольку Нестор смеялишь и двигает впереди себя совсем уж тупого Розена — Нестором восхищаются еще более. Люди, одипаково чтимые в свете, одипаково почитают гениальным песовместное! Я пишу; «То не конский топ, не людская мольв...» Барон Розен вторит: «То не репа цветет в огороде, то цветет Антонида в народе...» А красноглаголивые сорокалетние старцы, мужи седеющие, в восторге и от того и от другого: «Стиль а ля рюс!...» Может, зря лезу в правдолюбцы да мыслители, может, в кукольники да розены пробиваться надо? Им-то через мою голову от государя перстни с бриллиантами летят «за пись», а мой «Годунов» рамповых плошек так и не увидел!

Жуковский. Ты беспен сегодня!

Пушкин. Сбесишься, коли не знаешь, что ты такое.

Жуковский. Ты — «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Цыган», «Медный всадник»...

Пушкин. Нет, Василий Андреевич, это уже не я. Это — «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Медный всадник»... А я склоняюсь над самим собой, пролистываю мой ум, мою душу, как заготовки, еще небрежную запись того, что может явиться ко мне в целом. Явится ли?

Жуковский. Ты ведь пынче в России не изгнаник, ты в правах. Почему же не явиться твоему замыслу?

Пушкин. Да кабы только я в России, а то ведь и Россия во мне. Ты давеча спросил, что во мне мечется. Россия во мне колокольным языком мечется, Василий Андреевич. А колоколу невозможно укрыть звон свой.

Жуковский (*предостерегающе*). Александр! Колокол, ударивший не к обедне или всенощной,— пабат. Держи язык-то!
Пушкин. Не прикажешь ли стать колокольчиком на государственном столе? И звонить даже не к обедне и всенощной, а к обеду и ужину?

Жуковский. Мы — творцы пищи духовной!

Пушкин. Милый ты мой! Законы искусства отличны от тех, что собрал Сперанский в свод законов империи. Вот бы что поплыть государю! Да ведь он того никогда не поймет.

Жуковский. Ты прав: в том беда государя.

Пушкин. Нет, мой милый, в том папа с тобой беда. Возражая шампанского, устриц во льду и жену ближнего своего, двор делает вид, что сие пища духовная. А литература всего лишь рюмка водки перед ревельскими миhogами. Для аппетита!

Жуковский. Не карбопарничай!

Пушкин. Где уж мне! Я — декабрист без декабря. Все мечтал, что труд по истории Петровой обернется для меня моей Петровской площадью, моим стоянием перед Сенатом и всей машиной. Да разве против них устоишь? Вот и я, возражая шампанского, устриц во льду и жену ближнего своего, уже готов почитать сие пищей духовной. Не страшило ли?

Жуковский. Пушкин, уймись! Слышишь? Уймись! Делай то, что тебе предсдираторано. «Медный всадник» отскакал свое в стихах, теперь должен подняться другой Петр, в прозе, воистину великий — и собой и Пушкиным. «Всадник» был только репетицией, пробой резца, а пынче резец должен войти в глыбу истории российской. Труд Карамзина велик, он тащил глыбу, но резцом работать пынче тебе, Александр, дабы появилась фигуры.

Пушкин. Боюсь, Василий Андреевич, себя, своей руки, своих мыслей, когда они начинают выстрапливаться так, как угодно государю.

Жуковский. Все, все в тебе говорит о твоей любви к его величеству! Зачем же бежать ее? Александр, мы живем в век призраков!

Пушкин. В век дозваний живем мы, Василий Андреевич. Любовь подданных можно и лаской вытянуть и шпионажемами выбить, все одно: любовь!.. Я знаю, чего хочет от меня государь. Чтоб я соотнес его с Петром. От Кукольника да Розена он принимает лесть грубую, от Пушкина хочет лести тонкой: не в Николае Павловиче читатели должны будут узнавать великие черты Петровы, а в Петре Великом черты скромного Николая Павловича Романова, не прямого потомка.

Жуковский. Эй, Пушкин! Не взбирайся на генеалогическое древо Романовых, на нем и повиснуть недолго. Коли верно твоё подозрение к государю, то он ждет, что ты свяжешь его с персоной духовно. И прав! В империи должна, наконец, наступить связь времен. А что на тебя уповает — вдвое прав! Кто из нас не говорил: «божество», «вдохновение», «жизнь», «слезы», «любовь»?.. Ты сделал простую работу гения, поставил перед каждым из этих слов соединительный союз «и». Получилось:

«И божество, и вдохновение,
И жизнь, и слезы, и любовь...»

Государь ждет от тебя той же «простой» работы. Не отказывай ему!

Пушкин. Я и не отказываю. (*Усмехнувшись.*) Да вот... соединительного союза никак не могу пойти.

Жуковский. С чем же явишься в Зимний?

Пушкин. С Пушкиным, Василий Андреевич. Прости, боле не с чем.

Жуковский. Ах, Сверчок, Сверчок! Сидеть бы тебе па печи да цвикивать. А ты вон в Пушкины выбился, что в открытое море вышел. А там, воистину, буря.

Пушкин. Топит не морская пучина, лужа топит, Василий Андреевич!

Жуковский (*усмехнувшись*). Ты хоть государю сделай милость, чтобы последнее слово за ним осталось, а не за тобой. Но провожай, я по-домашнему. (*Идет к двери в прихожую,*

проходя мимо камина.) А прочесть так и не дал! (Укоризненно покачав головой, выходит.)

Пушкин садится к столу, углубляется в работу. Из гостиной снова выходит Натали.

Натали. Что Жуковский приезжал?

Пушкин. В три часа мне к государю с проектом истории Петровой.

Натали. Я велю подать одеваться?

Пушкин. Поспешусь. Зимний не за горами: и за милостью и за опалой вся-то дорога, что через мост.

Натали. А проект?

Пушкин. Все в голове, ее и отдам на суд государю.

Натали. А иду как в пётлю сунет?

Пушкин. Быть тебе без мужика в доме.

Натали (обняв Пушкина за шею). Возьму и не пущу! Чем тебе не петля? Зачем в Зимнем искать, когда дома есть?

Пушкин. Сладостней истили и не сыщешь!

Натали. Что ж ты из нее рвешься?.. За все наши с тобой годы она только по твоей шее и была.

Пушкин. Верно ли?

Натали. Женщина может солгать днем, ночью она лгать не умеет. А ты, ночью, счастливый от меня, видишь такие спы! Что за этим, Александр?

Пушкин. Жизнь, мой ангел. За спами — всегда жизнь.

Натали. Когда ты видел, чтоб на бале, на людях, Жорж стягивал с меня перчатку?

Пушкин. А зачем он на людях глазами тебя жадничает? Спы бывают и вещими, а я от крови ревнив.

Натали (не без издевки). О, я злаю все твои ревности!.. Есть ревность бальзам. За мной ухаживают, ты можешь увезти меня когда угодно, но тебе самому не хочется уезжать. Ты в правах на ревность ко мне, поэтому ревновать тебе лень, да арабская кровь обязывает! Ты и отходишь за колонну раздувать поздри, а под каждой колонной атласный башмачок таится. Тут воображение твое подпрыгивает, что жар в

лихорадку, и тебя уж самого нигде не сыскать. В карете ты всю дорогу винишь мое кокетство, так, что я и не успеваю спросить: где сам пропадал?.. Зато к почти: «Теперь, мой ангел, целую тебя! Гуляй, женка, только не загуливайся и меня не забывай. Завтра, к Вяземским, причешись а-ля Нипон: ты должна быть чудо как мила!»...

Пушкин. Женка! Пощади!

Натали. И не подумаю!.. Есть ревность домашняя: ты уходишь в гнев! Чтобы уйти в гнев, надо хлопнуть дверью так, чтоб посыпалась штукатурка и в гостиных часах что-то звякнуло. Из гнева ты выходишь свежий, отдохнувший и садишься обедать либо едешь к Смирдину порыться в книгах...

Пушкин (привлекает ее к себе). Ах ты мой Ювенал!

Натали. Александр! У тебя никаких видов к ревности нет: слава богу, Жорж наконец женился на сестре и счастлив с ней.

Пушкин. Женился по повелению государя! А тот оберегал честь камер-фрейлины двора Катрии Гопчаровой: Жорж-то глазами все тебя жадничал, а уж полгода, как обрюхатил Катрин. Не странно ли?

Натали. Что ж тут странного? Был пасторчик в своей любви к ней. К ней, а не ко мне!

Пушкин. Оставь, мой ангел! Лаская Катрин, он в каждой ее черточке тебя искал.

Натали. Что же он, призывался тебе в том? Или ты по себе знаешь, что так бываest? И по одному своему подозрению ты кидаешься на него из всех углов, что твой Денис Давыдов на Буонапартовых офицеров?

Пушкин (взорвавшись). Нашествие Буонапарта трагедией для России обернулось, нашествие твоего францутика на мой дом — светским фарсом. И то сказать! После трагедии часто дают фарс. Общество развлекается! Все лукавые роли нарасхват!

Натали. Возьми и себе лукавую, Пушкин!

Пушкин. Мне оставили единственную серьезную: роль сожженной Москвы.

Пауза.

Натали. Александр! Давайте паконец объяснимся.

Пушкин (*вдруг устав от вспышки*). Бог мой! У тебя с государем один манер говорить мне «вы», коли бушуете на меня. Не бушай на меня, мой ангел, оставь это его величеству. Он тоже все «Пушкин» да «Пушкин», а когда я вернулся с Кавказского театра, он и нацупился на меня: «Как вы смели проникнуть в армию без моего ведома? Армия моя!» Натали. Не прячься за Кавказские хребты от главного в нашем с тобой разговоре!

Пушкин (*тихо*). Это и есть главное, Наташа: «Моя армия! Моя Россия! Мой... Пушкин!»...

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Кабинет Николая Павловича. Царь за письменным столом, перед ним несколько раскрытых бюваров с бумагами. Видимо, по разным ведомствам.

Входит Пушкин. Не в камер-юнкерском мундире, а в суконном двубортном фраке, рукава с буфами, фалды не достигают колен.

Модная городская одежда — явный вызов казенной аудиенции у государя.

Николай поднял голову, взглядел пробежался по пушкинскому фраку, достал из кармана брекет, поглядел время, удовлетворенно кашнул головой.

Николай (*встав от стола*). Цеплю твоё усердие. Я вселел пустить тебя, как явишься, и трех часов не дожидалась. Что ж без бумаг?

Пушкин. Я голову принес, государь.

Николай (*кивает на стол*). А я вот в бумагах потерялся. Россия имение не малое, и вся на моем столе. Давеча мне даже показалось, что по моему столу Волга протекла. Вся — от истоков до Каспия. И не мертвая, не с карты, но живая, хоть пальцы мочи. Только в берегах из зеленого сукна. С тобой не случалось подобного?

Пушкин. Я в зависти к воображению вашего величества.

Николай. Ну-ну, не тебе быть в зависти к воображению. Твое воображение впереди веков бежит! (*Выдвинув ящик стола, достает бумагу. Отставив ее далеко от глаз, читает в лорнет*)

«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в пей язык,
И гордый внук славян, и финн, и пыне дикой

Тунгус, и друг степей калмык...
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал...».

Эпиграф из Горация: «Еказгей монумент». (Бросает листок на стол.) Твое?

Пушкин. Вонстину, у вашего величества на столе вся Россия:
от Волги до Пушкина.

Николай. Не дерзи! Что ж сам не присел? Зачем мне читать
твое в безымянных списках? Боялся, что преследовать стану
за «мой жестокий век»? Да ведь куда уйдешь, он и мой тоже.
Вот и не обижайся, коли в печать не пущу, а списки велю
изымать. (Смотрит на Пушкина.) «И милость к падшим при-
зыва!.. Ты это об каких падших?

Пушкин молчит.

(Покачал головой.) Все не избавишься от декабря?

Пушкин. Россия не избавится от декабря, государь.

Николай. Какая Россия? «От Волги до Пушкина»? Да ведь Россия не простор, опа — в людях: Николай, Жуковский, Пушкин, Бенкендорф, мужик — все Россия! Кто же в пей не избавится от декабря?

Пушкин. Николай, Жуковский, Пушкин, Бенкендорф, мужик.

Николай (пройдясь по кабинету). Я не жесток, Пушкин. Время и сан обязали меня к жестокости. У меня ведь тоже служба: я — император! Каждое утро в девять часов, что и все чиновники, я ухожу в должность. И в должности сей преследую правдолюбцев и лжецов, радиных и перадивых, сенаторов и трактирищиков. Ибо каждый имеет за собой грех, а я тот грех в подозрении держать обязан. Должность моя высшая, вседержащая. Вседержащая, Пушкин, пойми! Это мне и доброту и милосердие вяжет. А можно ли в наше время управлять людьми, не заслужив доверенности и любви их?.. Нельзя!
В том и сложность моего положения... (Остановился перед

Пушкином.) Вот ты... Веришь ли ты в мою дружелюбность к тебе? Отвечай, веришь?..

Пушкин (помедлив). Верю, государь.

Николай (с огорчением). Страх! Страх разомкнул твои уста и сказал за тебя «верю!».. Как кесарю мне бы и почесть высшим своим достижением твой страх, Пушкин. Что кесарю страх простолюдинов и сенаторов? Страх вольнолюбца — вот высшее достижение кесаря! А по-человечески я в огорчении.

Пушкин. Я не боюсь, ваше величество.

Николай (отмахнувшись). Капдалов, Сибири, бранного поля — не боишься, знаю. Боишься стать верноподданным, подлецом перед собой. Вот и бежишь своего страха — в дерзость, в братство, свободомысленным россом себя почитаешь. Да ведь нет свободомысленных россов, Пушкин! Есть среди россов — свободомысленные. И только. Что они могут? Быть верноподданными. В полную меру своей свободомысленности! И мне непостижно сие положение, да ведь зато — порядок! Вот и выбирай, мой друг, пора... Выбирай, каким певцом тебе стать: либо певцом моей любви, либо певцом твоей печали.

Пушкин (усмехнувшись). Я горд, государь: ваше величество мои стихи то из стола, то из памяти достает.

Николай. Моя память, что Алексеевский равелин: туда единожды только попастя надо. Ну-пу, я не пугаю, да хочу напомнить... (Снова берет листок со стихами, показывает лорнетом строчку.) Вот здесь заместо «Что в мой жестокий век восславил я свободу» было в черновом замысле у тебя «Что вслед Радищеву восславил я свободу»... А? (Смотрит на Пушкина.)

Пушкин. Я не спрашиваю, государь, откуда вам известны мои черновые замыслы.

Николай. И правильно делаешь, что не спрашиваешь: государям вопросов не задают. Но за подмену хвалю: «жестокий век» все лучше, чем «Радищев». И то сказать: словесность-то наша не в одном Радищеве, слава богу, и Державин был. И с Пугачевым дрался, и хвалы моей бабке на лире бряцал. А ведь велик, не поспоришь. Брать-то пример господам лите-

раторам есть с кого — с великого. Не зову вас в погах ползать, зову к державинской честности. Оп, к слову, тебе и лиру еще на лицейском экзамене передал. Куда ж тебе от его благословения? Да и заботы у нас с тобой одни. Ты думаешь, почему мне Волга на столе привиделась? Да потому, что первые пароходы я по ней пустил. А мне сказывали, будто ты где-то заметил: «Дым от тех пароходов нашей татарщины глаза проест». Верно ли?

Пушкин. Верно, государь.

Николай. Так зачем же нам бежать друг друга? Зачем ты попerek моих дел пишешь? (*Потрясает листком со стихами.*) Ну почему, почему «чувствам добрые я лирою пробуждал»?..

Пушкин. Чем плохо, государь, звать людей к чувствам добрым?

Николай. Да тем плохо, что куда как полезнее для наших с тобой соотечней звать их к чувствам добрым! Доброта — это движение души, разомлелость пекая. А бодрость — она и солдату, и пахарю, и сенатору впрок. Кто бодр — тот грудь вперед и отечству служит. А нам с тобой ведь это и надобно, Пушкин! Я не как цензор, я как гражданин с гражданином, с тобой говорю. С добротой-то пароход по Волге не пустишь, мужика к аглицкой машине не пристегнешь. С бодростью — да! А ты к доброте призываешь. Вот твои стихи инесут вредность прогрессу... (*Обмакнув перо, заносит его над стихами. Некоторое время словно сомневается, и — решившись.*) Нет, не могу. Хочу, да не могу пустить и это в печать. Тут уж, извиши, не чувства, а дело — закон. (*Крест-накрест перечеркивает стихотворение, ставит подпись. Подняв голову, смотрит на Пушкина.*) Да ты что побледнел? Не дать ли воды?

Пушкин (*справившись с собой*). Нет... государь. Мне хорошо.

Николай (*захлопывает бювар, куда сложил листок со стихами*). Не моя воля, прости.

Где-то дворцовые часы бьют три раза.

(Достает брелок, сверяет время. По очереди захлопывает все бювары, лежащие на столе.) Ну вот, в три часа я и выхожу из должности. Ежели еду с визитом после трех — велю доло-

жить: генерал Романов. Просто и по-житейски. (*Рассстегнув одну пуговицу на высоком вороте мундира.*) Садись! Генерал Романов тебе друг и по дружбе присоветует, как снискать милостей у императора.

Пушкин. Государь! Должность вашего величества не допустила мой «Екзеги монумент» в печать. Быть может, выйдя из должности, вы, ваше высокопревосходительство, «просто и по-житейски» пересмотрите сие дело?

Николай. Я бы рад, да боюсь, от Бенкендорфа попадет: он-то в высших чинах, чем я. Посуди, что может простой гвардейский генерал против генерал-адъютанта? А?.. (*Хохотнув.*) Ну-пу, за шутку не песяй, а скажи-ка мне лучше... (*Прошелся по кабинету.*) Скажи-ка мне, Пушкин, что такое поэт?

Пушкин. Поэт, государь, — это когда все, что стало привычкой, вдруг для кого-нибудь одного становится первоначальным. Он удивляется и трогает — речку, зеленый лист, звезду.

Николай. Ах, как ты владеешь и красотой мысли, и красотой изложения, друг мой! Ну, а что такое документы?

Пушкин. Документы, государь, — это осень эпох: жизнь, проходя, опадает желтыми листьями документов.

Николай. Я велел, чтоб осень Петровской эпохи опала на твои руки. Да, видно, поэт в тебе так удивился, что ты трогаешь сии желтые листы скоро уж пять лет.

Пушкин. Труд историка кропотлив.

Николай. Я был в терпении, да и теперь не корю: без изоготовки и борзая далеко не прыгнет. Проступила ли перед тобой фигура прапура?

Пушкин. Да, государь.

Николай. Ну-ну? Только со всей откровенностью.

Пушкин. Петр Великий есть сам по себе уже история российская.

Николай. Славно!

Пушкин. А российская история удивляла всегда и всех. Истинно, достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плод ума обширного, исполненного доброжела-

тельства и мудрости, вторые жестоки, своеволивы и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности — или по крайней мере для будущего,— вторые вырвались у петерпеливого самовластного помещика.

Николай (*пройдясь по кабинету*). Однако ты не только мне, ты уж и истории нашей дерзить начал. Коли из-под твоего пера я допущу подобные уколы в адрес прашура, папки с тобой потомки запутаются, кто при ком жил: то ли Пушкин при Николае Первом, то ли Николай Первый при Пушкине.

Пушкин. Не запутаются, государь.

Николай. Ну-ну, слава богу, хоть свое место зпаснь. А «самовластного помещика» выкинь, коли не из головы, так из труда своего. Что у тебя там дальше, в голове-то?

Пушкин. Вся история, государь. Да, видно, вашему величеству угодно отдельные места пройскать для себя. Вот хотя бы... избиение стрельцов в тысяча шестьсот девяносто девятом.

Николай. Подавление бунта, Пушкин! Подавление бунта! Говори, как все было.

Пушкин. Разбитие стрельцов случилось восемнадцатого июня у Воскресенского монастыря. Мятежники отслужили молебен и освятили воду...

Николай. Постой!.. (*Некоторое время держит ладонь на глазах.*) «Отслужили молебен и освятили воду»... А мои бунтари четырнадцатого декабря прогнали священнослужителей, что я для их увещевания выслал!.. Те-то хоть на бога уповали, а эти — «на святое дело» вышли и без бога в душу! А? Не ли-цемеры ли? Ну?.. Что ж молчишь?

Пушкин (*с каменным лицом*). Стрельцы, не вспомля увещевавшим генералов Шеппина и Гордона, пошли на войско, состоявшее из двух тысяч пехоты и шести тысяч конницы. Генералы, думая их удержать, повелели стрелять выше голов...

Николай (*перебивая*). Я тоже волел Сухозанету попачалу холостыми над головами бить! А? Ты разве не знал того?.. Ах, как все повторяется, Пушкин!

Пушкин. Попы закричали, что сам бог не допускает оружью еретическому вредить православным, и стрельцы, при барабанном бою и с развернутыми знаменами, бросились вперед...

Их встретили картечью, и они не устояли. Начались казни. Лефорт старался укротить рассвирепевшего царя...

Пауза.

Николай. Да не в сочувствии ли к стрельцам твой рассказ?

Пушкин. Я излагал лишь факты, государь.

Николай. А в стрельцах видел Рылеева с Пестелем, Муравьева да Каховского! А?.. Снова молчишь? Испугался моей догадки?

Пушкин. Видел, государь.

Николай. Молодец!.. Дивишься, что хвалю? Что ж не похвалить, коли у нас с тобой согласно выходит. Ты увидел в стрельцах Пестеля да Рылеева, а я... Помню, вылетев на Петровскую, к восставшим полкам, я вздыбил копя, и вдруг... да-да, именно вдруг, дивный всадник вздыбил копя мне навстречу... (*Кладет ладонь на глаза.*) Повитая пойзу туманом мне навстречу вознеслась медная фигура прашура. Ах, Пушкин!.. Мгновенный соблазн был велик — почесть себя его отражением. Но я сдержал духовный поров и только бессознательно выбросил, что и он, правую руку вперед. Совпадение случилось мимо моей воли: я уже был Петром-усмирителем перед восставшими стрельцами... Его боль об отечестве стеснила мне грудь, его воля поднесла меня к Сухозанету и отдала команду: картечью!.. В упор!

Пушкин. Государь! Петра не было у Воскресенского монастыря. Он только скакал из Италии, прознав о бунте. Усмирение пало на руки генералов.

Николай. Да ведь скакал! Значит, и конь был, и порыв к усмирению. А и там, и здесь бунтарские полки тянули Россию назад. Не к благоденствию от нового царствования, а к расправям и жестокосердым усобицам. Ты увидел в стрельцах моих «друзей» по двадцать пятому году, я в Каховском да Рылееве — стрельцов. Благодарствуй! Суть явления одна. Так и напиши это место.

Пушкин. Государь! Но я признался вам не в том смысле, в ка-

ком вашему величеству угодно было это обернуть. Стрельцы — те, воистину, тянули Россию позад, к Софье, а четырнадцатое декабря...

Николай (*перебивает*). Молчи! Молчи! Твое перо хоть и дерзко, да все разумнее твоего языка. А ты сейчас можешь на себя понести такое, что хоть сдавай тебя Бешкендорфу под арест. Молчи! Я велю! (*Пометавшись по кабинету*.) Ну, успокойся!

Пушкин. Я не выходил из покоя, ваше величество.

Николай. Вот-вот! Я еще должен заместо тебя и волноваться!

Пушкин. А я... должен ли попирать ваше величество в том смысле, что коли у вашего величества уже сложился вид на историю Петрову, то у меня не должно быть своего?

Смерклюсь. Служитель вносит зажженный канделябр. Не дав канделябр поставить на стол, Николай берет его из рук служителя.

Николай (*Пушкину*). Вот тебе мой ответ... Смотри! (*Отводит канделябр в сторону на вытянутую руку*.) Видишь, сколь велика моя тень на стене? (*Поднимает канделябр над головой, показывает на свою тень, брошенную игрой света на пол, к ногам Пушкина*.) А теперь я, государь всяя Руси, маленький, головой твоих сапог касаюсь. Тени прошлого в твоих руках, Пушкин. А уж свечу, прости, я держать буду. (*Ставит канделябр на стол; усмехнувшись*) «Вид на историю»! Истинно, зачем тебе иметь, коли у меня уже есть? Одолжись у меня хоть этим. Я-то у тебя одолжусь большим: пушкинским слогом! Кстати, в заботах о твоем деле я ревизию домашним архивам сделал. Вот... (*Распахнув один из многочисленных бюваров, достает бумагу*.) Может, и сгодится тебе... Здесь записано видение батюшки моего Павла Петровича. Он тогда еще великим князем был. Однажды, выйдя после пирушки с князем Куракиным, он приметил подле себя и другого спутника. Тот был высок, закутан в плащ, на лице его лежала тень от старинной треуголки... Куракин ничего не приметил, а высокий довел батюшку до того места, где нынче Фалько-

нотов памятник Петру. Медный всадник уж тогда был заложен... Сияя треуголку, высокий обнажил лицо и оказался Петром Великим. Он благословил будущего Павла Первого. (*Протягивает Пушкину бумагу*.) Документу можно верить, он записан со слов самого Павла Петровича баронессой Оберкирх. А баронесса была наперсницей детских игр моей матушки. (*Задумчиво*.) Петр Первый, Павел Первый, Александр Первый, Николай Первый... Не из пебесной ли каштелярии такая нумерация, а? Первые — сиречь изначальные. Не определяются ли так свыше начала новых эпох? Да ты что встал? При генерале Романове можно и сидеть.

Пушкин. Генерал Романов вышел. Заместо него вошли сразу четыре государя.

Николай (*кладет руку на плечо Пушкину*). И все четыре готовы довериться историографу Пушкину. Игра на твоих руках: с четырех королей кряду можешь пойти. А?.. (*Потрепав Пушкина по плечу*.) Я рад был тебя видеть. Отобедать не остановишься ли? Да хочу упредить: у меня сегодня без сладкого. Два дни на неделе я велел семье без десерта обходиться. И знаешь, большая экономия по кухне выходит.

Пушкин. Если бы я осмелился пригласить ваше величество к себе, российская корона была бы сегодня и при десерте.

Николай. Вот тебя и приходится за уши из долгов тянуть. Знаю, что столовое серебро заложил, а десертом на столе похвалишься. Ну да «История Петрова» все прореки в твоей казне залатает. Ступай. Листы с главами будешь передавать мне через графа Бешкендорфа.

Пушкин. Ваше величество! Увольте меня от посредничества графа в нашем с вами деле.

Николай. Да чем тебе Александр Христофорович не люб? Прекрасный человек!

Пушкин. Государь! Один литературный деятель и делец говорил Ивану Ивановичу Дмитриеву о своем приятеле и сотруднике: «Вы не судите о нем по некоторым выходкам его. Он, спора нет, часто негодяй и подлец, но в нем добрейшее сердце. Утверждать, что он служит в тайной полиции, сущая

клевета! Никогда этого не было. Правда, что он просился в нее, но ему было в том отказано. Конечно, никому не посоветую класть палец в рот ему: непременно укусит. Недорого возьмет он, чтобы при случае предать и продать тебя: такая уж у него натура. Но со всем тем он прекрасный человек и нельзя не любить его».

Пауза.

Николай. Аnekdot твой мне скверен. Но быть по-твоему: приноси сам. Да бумаги песи, а не голову. Бумагу править — ей не больно, а голова от правежка и разболеться может. Подумай о своей голове, Пушкин!

Поклонившись, Пушкин, отступая, выходит.

В проеме двери, открытой во время аудиенции во внутренний покой, появляется фигура Бенкендорфа.

(Кивает вслед ушедшему Пушкину.) Как он тебе, а?.. Ну да бог с ним! Я ему многое прощаю, прости и ты.

Бенкендорф (*приветливо улыбаясь*). Не вижу в забавном рассказе Александра Сергеевича намеков на мою личность, государь. Ведь тот «просился в полицию, да его не взяли», а я сам шеф над всеми полициями. Александр Сергеевич просто рассказал вашему величеству анекдот из пынешних литературных нравов. Ведь это литераторный деятель говорил о своем сотрудникe... Пожалеем господ литераторов, ваше величество.

Николай. Ну-ну, ты добр к Пушкину, я рад. А меня, признаюсь, он часто в раздражение вводит. Как тебе его историографические начала?

Бенкендорф. Интересны, государь. Но душок карбонаризма и до тех покоеv дотянулся. А ведь это всего лишь изложение изустное и неполное.

Николай. Мда. Ну что же, пусть пишет. Писаное слово и прочеркнуть можно, и другим словом заменить.

Бенкендорф. Пушкинское слово, государь, только пушкинским заменить и возможно, иначе в слоге перебои пойдут. А про-

черки... (*Приветливо улыбнувшись.*) При необходимых прочерках, ваше величество, боюсь, что от труда его ничего и не останется.

Николай. Мда. Что присоветуешь?

Бенкендорф. Недавно, ваше величество, по представлению графа Сергея Семеновича Уварова вы изволили выразить монаршее благоволение историку Устрилову за первый том его истории российской.

Николай. Разве?.. Да-да, всего просвещения одним Пушкиным не насытить. Хороша «История»? Ты читал?

Бенкендорф. «История» хороша, ибо история российская должна быть не может. Правда, писана дурно, но человеком блажонадежным.

Николай. Я все никак не возьму в толк: гении, что ли, перевелись на Руси? Только Пушкин есть?

Бенкендорф. О гениях по состоянию тайной полиции судить можно, ваше величество. Коли перевелись бы гении, и полиция пришла бы в упадок. А мое ведомство в расцвете сил и здоровья.

Николай. Что за несчастье моему царствованию! Как литератор одарен богом, так он в якобинцы поровит. А ущербные от бога на десять аршин вирши верноподданнические строчат. И ведь хвалишь! А что делать?.. Мне бы вон Кукольника в карцер посадить за дурные стихи в его патриотической драме «Рука всевышнего отечество спасла». Да ведь драма патриотическая! Я за нее автора перстнем с бриллиантом и пожаловал. Да еще велел прикрыть журнал, что по делу пошипал драму его. Тут и твоя вина, Александр Христофорыч, что только люди без искры божьей в душе хвалы нам поют!

Бенкендорф. И пусть поют! Их много, пение-то громкое получается. Булгарины на весах живым мясом Пушкинских перетянут. А уж о крике и говорить нечего: переорут!

Николай. Да хорошо ли то? Я ведь уж и немолод.

Бенкендорф. Хорошо, государь. Покойно. Недавно Нестор Васильевич Кукольник, в патриотическом порыве, сказал мне:

«Прикажут — завтра же буду акушером!.. С таким поэтом и дело приятно иметь.

Николай (*с нарастающим раздражением*). Да-да, а граф Сергей Семенович Уваров выразил мне как-то свое пожелание, чтобы наконец русская литература и вовсе прекратилась. А ведь министр просвещения!.. Что ты, что Уваров — пытаешься жизнь себе облегчить. Что мне твой Кукольник? Мне Пушкин нужен! Пойми, Александр Христофорыч, пужен! Надобен! Необходим! И не робость его, не повинование, но сердце! Бенкендорф. Ум Пушкина, государь, в печать не запретишь: увертлив! Всякий раз сердце его приходится запрещать. Оно не ваше, государь.

Николай. Знаю... На жизнь его не укротить. Да хотя бы на произведение! Ведь коли Александр Пушкин поддержит дом Романовых, так и Александру Второму, Сашке моему, легче будет со своими якобинцами управиться.

Бенкендорф. Я в почтении к дальновидности вашего величества, да что делать?

Николай. Поосвободи-ка вожжи на нем. Твой падзэр тайный, а Пушкин об нем что о явном судит. Ты виноват, не спорь!.. Россия — клетка обширная, прутьев в ней не видно, пусть и прыгает посреди клетки, что на воле. Дальше Нерчинска, Соловков, Петропавловской да пемирных черкезов никуда и не денется. Поосвободи па нем вожжи, Александр Христофорыч!

Бенкендорф. Слушаюсь, ваше величество.

Николай. Ступай!

Бенкендорф, поклонившись, отступает к выходу.

Погоди!.. При случае все же Устрилова приведешь ко мне. Я графа Сергея Семеновича давно не баловал, а он печется о просвещении. Надо бы обласкать его протеже.

Бенкендорф. Государь! Экстраординарный профессор Санкт-Петербургского университета господин Устрилов имеет высокую честь находиться в приемной вашего величества.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Питетное заведение невысокого пошиба. Нечто вроде кабинета, отгороженного от общей залы дощатой перегородкой и ситцевой занавесью.

Раздернув занавесь, полововой вводят в «кабинет» Пушкина и двух дворцовых ламповщиков — Ефрема и Методия. Все внимание половового к Пушкину, птице, видно, здесь редкостной. Ламповщики сваливают тулуны на лавку. Половой принимает от Пушкина шубу, с бережением кладет ее сверх тулупов.

Гости рассаживаются.

Ефрем (*Пушкину*). Ну что, увели мы тебя, Лександра Сергеич?

Пушкин. Увели! (*Хохотнул*.)

Методий. Ефрем, ты его спроси, чего склабится?

Ефрем. А склабится — значит, приятно ему, что мы его увели.

Методий. А почто с нами увязался?

Ефрем (*Пушкину*). Ты почто с нами увязался? Мы-то озоровали, когда тебя цыкнули за собой.

Пушкин. И я озоровал.

Ефрем. Ладна!.. Наше-то озорство бесплатное, а твоё денег стоит: ставь штоф и пожрать чего. Ламповщики государевы жрать горазды. Аль не слыхал?

Пушкин. Нет, не слыхал.

Ефрем. Ну, теперь знать будешь. Может, чего в уме от того знания прибавится, а?.. (*Хохотет*.)

Половой. Что будет угодно-с?

Ефрем. Грешневой каши на крови с костным мозгом. Еда!

Методий (*восторженно*). Еда!

Половой. Щей по-потемкиски не прикажете ли?

Методий. И прикажем! И прикажем!

Ефрем (*половому*). Да ведь мы не с опохмелу, мы с почином к вам.

Методий. Верна! Я в загул дни на три иду. Вели к утру щей потемкинских.

Ефрем (половому). Слыхал?

Половой. Как не слыхать? К утру-с будут в самый раз.

Ефрем (половому, строго, рисуясь перед Пушкиным ролью знающего заказчика). Да как их дёржите, щи-то?

Половой (с свою очередь, рисуясь перед Пушкиным). У пас фирмса-с! Дёржим в сулёях¹ стеклянных и не па морозе, а в холоду. Подаем в глиняных кружках глазированных, чтоб, значит, без ложек, а губами хватать. Можно с солонинкой кропленой, а можно с паровой говядинкой, разварной. Те по дороже-с. (Пушкину.) От них и сытость и кислица с прохладой во рту-с.

Мефодий. Пущай по две кружки подаст: и с солонинкой и с коровячиной разварной. Тé постуденистей будут.

Ефрем (половому, строго). Слыхал?

Половой. Слыхал-с.

Ефрем. Да осетра небольшого, цельного пущай запекут в тесте на поду.

Половой. Слушаю-с!

Мефодий. Еда!..

Половой убегает.

Ефрем! Ты флигель-адъютанта спроси все ж: чего с нами увязался?

Ефрем. А чтоб водки тебе поставить с кашей да подовым осетром. Не уразумел еще?

Мефодий. Ну, коли так, пущай сидит. Не липний.

Ефрем (Пушкину). А ты, Лександра Сергеич, истинно, чего с нами увязался? Заведение, сам видишь, черное, не господское, мы и на свои погуляем.. Али дело у тебя к нам?

Пушкин. Дело.

Ефрем. Ежели ты про лампу масленую, висячую, что мы с Мефодием собрали,— так ее уж, прости, барон Бревский, Пал Николаич, сторговал.

¹ Сулел — бутыль.

Пушкин. Другое, Ефрем: сказывали мне, будто ты похвалялся колядой, с которой мужики к самому царю Петру хаживали?

Ефрем. Верно, есть такая колыда, где Петр Лексеич, царь-государь, помянут.

Пушкин. Споешь ли?

Ефрем. Что ж не спеть? (Напевает.)

Коляда, колыда!

Пришла колыда

Во капун рождества.

Мы ходили, мы искали

Коляду святую

По всем дворам, по проулочкам.

Нашли колыду

У Петрова-то двора...

Петров-то двор железный тып,

Посередь двора терем стоит,

А в том терему Петр-царь сидит,

Царь-государь

Свет-Лексеевич...

Мефодий (подхватывает).

Слава богу па пебесй,

Слава!

Государю пашему на сей землй,

Слава!

Чтоб нашему государю не стárеться,

Слава!

Его цветному платью не изнашиваться,

Слава!

Его добрым коням не изъезживаться,

Слава!

Его верным слугам не измениваться,

Слава!

Ефрем (навстречу половому, вошедшему с водкой и кренделями на подносе).

А эту песню мы хлебу поем,

Слава!

Хлебу поем, водке честь воздаем,
Слава!

(Разливает водку по чарам, одну ставит Мефодию под руку, под руку же кладет ему и кусок кренделя). Ну, с почином!
Пьют.

Мефодий (закусив кренделем). Ефрем! Ты спроси у флигель-адъютанта, на кой хрен ему колядка-то?

Ефрем. Господин Пушкин не флигель-адъютант, он камбрюнкер. А коляду он запишет и в книжку при надобности вставит: пишта он!

Мефодий. Песни, стало быть, ворует.

Ефрем. Песни — они ничайные, их что воровать. А случится, я позабуду, ты позабудешь, глядь — а они за Лександром Сергеичем записаны.

Мефодий. Да я ничего, то воровство доброе. А сам-то он стих сложить может?

Ефрем. Лександра Сергеич, уважь, а?..

Пушкин.

Ходил Стенька Разин

В Астрахань город

Торговать товаром.

Стал воевода

Требовать подарков.

Поднес Стенька Разин

Камки хрущатые,

Камки хрущатые —

Парчи золотые.

Стал воевода

Требовать шубы.

Шуба дорогая:

Полы-то повы,

Одна боброва,

Другая соболья...»

Ефрем (вежливым смешком прервав Пушкина). Ты уж извини нас, грешных, этого товару мы и сами можем тебе сколько

хоть пакидать. А ты бы нам чего-нибудь господского. Нам ведь интересно, как вы там с бабами, ну... и прочее.

Пушкин. Что ж, изволь... Да хотя бы это:

Я вас любил: любовь еще, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим;

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим.

Ефрем (помолчав). А баба-то пичего была?

Пушкин (улыбнувшись). Ничего.

Мефодий. Жива или померла?

Пушкин. Бог с тобой, жива!

Ефрем. Тогда во здравие! (Снова разливает водку по чарам.)

Пьют.

(Пушкину.) Уважил ты нас. Спасибо.

Пушкин. А понравилось ли?

Ефрем. Да как тебе сказать... Ты уж прости нас, Лександра Сергеич, а мы в этих самых случаях без стиха обходимся. И ничего, знаешь, детишки растут.

Мефодий. Нет, Ефрем, тут я с тобой несогласный. При стихе оно вроде бы как при лампаде горящей, при бого. Все ж при стихе ты не кобель, а человек... «В душе моей угасла не совсем»... Надо ж те, а? Нет, Ефрем, ты скажи ему, что я с тобой несогласный.

Ефрем. Несогласный он со мной, Лександра Сергеич.

Пушкин. А зачем друг твой Мефодий через тебя со мной говорит?.. Что ты за толмач такой с одного языка на тот же са-мый?

Ефрем. Да вишь, какая штука... Говорить-то хорошо с тем, кого видишь. А Мефодию хворь глаза выела, слепец он. Сразу оно, конечно, и не приметишь, глаза у него с виду живые, а только взору в них нет, в тьму они у него уперты. Меня-то он

помнит, каков я, потому с другими через меня и разговаривает.

Пушкин. Как... слепец? Да ведь он дворцовый ламповщик?

Ефрем. Эх, Лександра Сергеич! Мученье свет, а немученье тьма.

Мученики светлы на Руси. Мефодий мученик, потому он и сам светел и свет чует. Он длани ламповой огонь видит, он пальцами в лампаде такое ровное огненное семечко выпестует, что и богу любо и человеку приятно.

Мефодий. Ефрем! Ты ему пальцы мои покажь.

Ефрем с бережением берет руку Мефодия, показывает ее Пушкину.

Пушкин. Черные!

Мефодий. Ефрем, ты скажи ему, что свет — он горяч, он пальцы жжет. Черны мои пальцы, а ослепления в них нет, зрячи они — и на свет, и на водку, и на хорошего человека. (*Гоготнув.*) Пусть еще ендово ставят!

Пушкин (вскочив, ошеломленно). Слепцы на Руси лампами ведают!..

Ефрем. Ты что, Лександра Сергеич? Ай потерялся от Мефодиева жития?

Пушкин. Потерялся?.. (*Хохочет.*) Нашелся, нашелся! От слепца прозрел!.. Слепцы на Руси лампами ведают!

Ефрем. Ну и ладна!. (*Разливает водку.*) Пей, Лександра Сергеич. Ты, поди, к шампане привык, так она что, одни пузыри. А водочка шточная — она что серебро литое, от нее богатство душевое!.. (*Подставляет одну чару Мефодию, тот ее отставил.*)

Мефодий. Погодь!

Ефрем (посмотрел на Мефодия, взял Пушкина за руку, показывая на слепца. *Тихо*). Ты, коли истинно песню записать хочешь, — пиши. Он сейчас песню в себе собирает.

Вбежал половкой с подносом, на котором горшок каши и еще штоб. Ефрем на него вскинулся, тот застыл.

(*Склонился к Пушкину.*) Зпаю я эту песню... От перехожих слепцов он ее перенял, она про очи свои ясные да зрячие. Эва как!.. Иной слепец куражится, не желает, чтоб его ущербным почитали.

Пушкин (тихо). Да ведь тот кураж и для себя невеселый и другим может в урон стать.

Ефрем. Истинно так... (*Кивнув на Мефодия, еще тише.*) Сколько он лами да лампад во дворце своими лапищами передавил — и сказать-то страх! Да ведь без греха: слепец! Все его и покрывают, мученика-то нашего... Ты пиши, пиши...

Пушкин достал из кармана четвертушку бумаги, карандаш, приготовился писать.

Мефодий (запел).

Что мои-то ясны очи заглядчиваты,
Что очи завидят, то на очи берут!..
Через речушку жестяночка лежит,
Что никто по той жестяночке не пройдет.
Только шли-прошли стары бабы,
Стары бабы старобразы.
Еще сметь ли спросить старых баб,
Еще что в городе вздорожало?
Вздорожали, вздорожали молоды бабы:
На овсяный блин по три бабы,
А четверта провожата,
А пятая на придачу.
Что мои-то ясны очи заглядчиваты,
Что очи завидят, то на очи берут!..
Еще шли-прошли молоды бабы.
Еще сметь ли спросить молодых баб,
Еще что в городе вздорожало?..
Вздорожали, вздорожали добры молодцы:
Еще восемь молодцев на полденьги,
А девятый провожатый,
А десятый на придачу...

Что мои-то ясны очи заглядчиваты,
Что очи завидят, то на очи берут!..
Еще шли-прошли добры молодцы,
Еще сметь ли спросить добрых молодцев:
Еще что в городу вздешевело?..
Вздешевели, вздешевели красны девушки,
По сту рублей красна девушка,
А в торги пойдешь — так по тысяче...
Что мои-то ясны очи заглядчиваты,
Что очи завидят, то на очи берут...

Стало тихо. Пушкин так ничего и не записал. Сидит задумавшись, подперев голову кулаком. Не пошевелится половой. Задумался Ефрем.

(Шумно втянул носом воздух; говорит явно для куражу, думая о другом и невеселом.) Ефрем!.. Матушка-каша пришла... Грешневая, на крови, с костным мозгом... Еда!

ДЕЙСТВИЕ
ТРЕТЬЕ

КАРТИНА
ПЯТАЯ

Гостиная в доме Карамзина. Екатерина Андреевна Карамзина. Входит только что приехавшая Натали.

Карамзина (*встает ей навстречу*). Я рада вам.
Натали. Мне Софи прислала записку, чтоб я была к ней немедля.

Карамзина. Верно, дочь посыпала за вами.
Натали. Что случилось? Только говорите правду, не надо меня готовить... Пушкин... у вас?

Карамзина (*удивленно*). Пушкин? Нет.
Натали (*облегченно вздохнув*). Это мне и в утешение и в еще сильнейшую тревогу... Он исчез. Вчера Жуковский, душа, уж побывал у Вяземских, Бревских, объездил всех знакомых рестораторов...

Карамзина (*мгновенно встревожившись, но пытаясь успокоить Натали*). Кабы что случилось, государь уж про то знал бы: за Пушкиным везде и глаза и уши графа Александра Христофорыча.

Натали (*растерянно усмехнулась*). Да-да... Порой и тайный надзор во благо!.. Софи у себя?

Карамзина. Вам туда не след ходить: у ней Данте.

Натали (*опускается в кресло*). Это коварно!
Карамзина. Потому я вас и поджидала, прознав о записке. Вы... можете уйти. Я не скажу Софи, что вы были, и прислуге не велю говорить. Пришлите с Никитой ответ, что не смогли приехать.

Натали (*помолчав*). Я хочу видеть Жоржа.
Карамзина. Тогда простите мне, что я вмешалась.

Натали. Нет-нет, я побуду с вами, коли позволите, а Жорж по уходе нас не минует. (Словно извиняясь.) У меня ноги не идут туда, а видеть его мне падобно.

Карамзина. Да зачем же?! Свет и так скандализован его поведением после женитьбы на вашей сестре.

Натали. Скажите уж, и моим поведением.

Карамзина (суховато). Да.

Натали. Катерина Андреевна! Помните, вы через Александра писали мне слова привета, сразу же после нашей с ним свадьбы?.. «Александр! Я Вас уполномочиваю быть моим толмачом перед госпожой Пушкиной... Она найдет во мне сердце, готовое любить ее всегда, в особенности если она ручается за счастье своего мужа»... Истино ли вы приглашали меня тогда к вашему сердцу?

Карамзина. Тогда — нет, пынче — приглашаю запово.

Натали. Ну вот я и пришла... Записка Софи — случай. Почитайте, что я пришла к вам. Катерина Андреевна, голубчик, я... не могу «ручаться за счастье своего мужа». Спасите нас!

Карамзина (ревниво). Вы... любите Дантеса?

Натали (утерев проступившие слезы, рассмеялась). Вы мечтая к Жоржу паче Пушкина ревнуете!

Карамзина. Так в чем же дело?

Натали. Я и сама не пойму... Пушкин мне давеча в спах признался... Ему все дуэль снится.

Карамзина. Господь с вами обоими! Зачем же дуэль?.. С кем? С Жоржем?

Натали. Нет, с самим собой. Он репетирует дуэль перед зеркалом. Два Пушкина одновременно поднимают пистолет и целят друг в друга.

Карамзина. Этого быть не может!

Натали. Да, он так и сказал: в России Пушкин не может убить Пушкина. Он... эту роль Жоржу предназначил.

Карамзина. Натали, вы безумны!

Натали. Я проникла его игру! Он ревнив к Жоржу при посторонних, кто мог бы разнести по гостиным. Дома же — мир да покой.

Карамзина. Уезжайте немедля! Вы не должны более видеться с Жоржем! Нигде, никогда!

Натали. Я должна свидеться с Жоржем.

Карамзина. Да зачем же, коли все так напряглось?

Натали. Я не могу вам этого сказать.

Карамзина. Хорошо. Я вам верю. Я в вас верю.

Натали. Это от сердца?

Карамзина. Да.

Натали. Тогда я вам еще откроюсь... Он никому, кроме меня, не позволяет прикасаться к столу, когда работает. Я сама, гусиным пером, осторожно прибираю пыль из-под бумаг. И вот вчера... я под бумагами нашла черновик письма к Геккерену-отцу. Черновик писан с ломкой перьев об лист, с раздуванием поздней. Бешеный!

Карамзина. Вот видите! Вы не правы в догадке, что он ревнив к Жоржу только при посторонних. При письме посторонних не бывает.

Натали. Нет, я чувствую: Геккерены — это исход, где можно выкричаться... Катерина Андреевна! Отчего крик в душе его?.. У меня в глазах померкло... «Господин барон! Позвольте подвести итоги тому, что произошло»... Письмо поносное... Отца он называет «старой развратницей», «сводней», а Жоржа «трусом», «негодяjem» и... не могу даже произнести! Коли Геккерены получат это письмо, у них иного выхода не станет, как послать вызов.

Карамзина. По своему званию посланника барон не может драться. Вызов исключен!

Натали. В письме он пишет: «Я заставлю вашего сына играть такую жалкую роль»... Роль!.. Драться будет Жорж. Я свернулась в дуэльном кодексе. Право на вызов оскорблена сторона может передать члену семьи или другу.

Карамзина. Да не в тревоге ли вы за Жоржа?

Натали. Господь с вами! У меня дети. Четверо. Они — Пушкины!

Карамзина. Быть может, черновик писан до женитьбы Дантеса на вашей сестре?

Натали. Да, черновик старый. Как раз заехал Жуковский, я ему открылась в парадке. Жуковский признал в черновике письмо еще от ноября месяца, когда Пушкин поделился с ним этим письмом... Жуковский тогда отговорил Пушкина. Я уж было и пришла в себя, как Василий Андреич сам победел, нашедши в черновике... (Задохнулась.)

Карамзина. Что?!

Натали. Свежие правки. Вы... давно видели Пушкина?

Карамзина (вспоминая). Нет... Александр на днях был у меня. Заехал сразу из филармонической залы Энгельгардта, после утреннего концерта... Концертировал Джон Филд. Александр был возбужден необычайно... Еще бы! Полагают, Филд самому Листу соперник... Заехал-то он порыться в библиотеке Николая Михайловича, но все время проговорил об концерте...

Натали (ревниво). Мне он ничего не сказал!

Карамзина. Видно, здесь выговорился и постыл... Да я сыну в Париж отписала пушкинское суждение о Филде. (Подходит к столику с серебряным подносом, на который, видно, сбрасывается готовая к отправлению вся домашняя корреспонденция. Перебирает письма.) Коли его еще не спесли на почту... Нет, вот опо! (Достает из пачки конверт, вскрывает.)

Натали. Зачем же вы!

Карамзина. Недолго снова запечатать. А коли верно то, что я вспомнила, письмо и к нашему разговору будет... (Пробегает письмо глазами.) «Милый Андрюша».

Натали (вежливо). Что оц там?

Карамзина (ищет нужное место в большом письме). Славно... И Париж и общество ему пришли... (Найдя.) Вот: «Андрюша! Заезжал Пушкин. Вот тебе его вдохновенное суждение о филдовском концерте... Записала после его отъезда, как могла, прости. Пушкин сказал: «Я впервые видел, как играет Филд. Я впервые видел диалог музыканта с инструментом, диалог Филда с роялем.

Поначалу они шептались, об чем-то сговариваясь. Рояль был серьезнее Филда. Филд водил руками по клавишам пе-

брежно, словно массировал или щекотал их, поддразнивая, а рояль отвечал всерьез, словно упрекая Филда в небрежении.

Потом они подружились и вместе внутри серьезного произведения как бы принялись разыгрывать импровизацию, этюды.

Потом снова что-то случилось... Рояль сопротивлялся так, как художнику сопротивляются краски, линия, поэту — слово. Пианист был творцом, а у творца всегда возникает острый, Шекспировый диалог с материалом, из которого он творит. Микельанджело дрался с мрамором, высекая долотом и молотом ту единственную линию, которую он прозрел внутри глыбы. Руки пианиста перестали быть просто руками, это были могучие длани, опускавшиеся на клавиатуру с единственной волей: обратить звукомую всем мелодию в свою веру, обернуть ее к людям своей мыслью, своей совестью, своей правдой...

Дамы часто музенировали при мне это произведение. Под розовыми пальчиками верхний регистр поблескивал путаной канителью, которую очаровательные музыкантши никак не могли распутать, нижний звучал так, словно с елки на полсыпались серебряные орехи...

У Филда в этой части снова разладились отношения с роялем. Пианист низко наклонился к инструменту и что-то шепотом стал объяснять ему, уговаривая. Но рояль был не-преклонен: верхний регистр острил, рассыпая веером шпильки, нижний — грохотал, как дуэльные пистолеты...». (У Карамзиной опустились руки.) Это то место, из-за которого я распечатала письмо. Вспомнила, да подумала, что ошиблась. Теперь видно: у него дуэль из головы пейдет.

Натали (кинула на письмо в руке Карамзиной). Он тут жизнь свою выговорил!.. (Схватившись.) Катерина Андреевна, голубчик, я поеду. Вдруг он уже дома?

Карамзина. А Дантес?

Натали. Чего?.. Вы ведь не хотели, чтоб я с ним свиделась.

Карамзина. Вы должны с ним говорить, Наташа. Коли не все,

так многое пынче в ваших руках. (Прислушивается.) Сюда Жорж! Я оставлю вас. (Выходит.)

Натали. Господи, что же я ему скажу?.. (Пытается ладонями остудить щеки. Решительно.) Жорж!.. (Срывает с шеи крестик, протягивает воображаемому собеседнику.) Целуйте крест... Да целуйте крест, а не меня в нем! И клянитесь!.. Клянитесь, что все письма и записки из нашего дома вы будете отправлять обратно не распечатав. Это моя воля!.. Нет, я... молю вас об этом. (Обессиленная, опускается в кресло.) Я словно ночью, одна, в возке, посередь зимней дороги. И лошади понесли!

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Поздний вечер. Набережная Мойки неподалеку от дома Пушкина. Мост, ведущий к Дворцовой площади. Одинокий фонарь. Глухой стук копыт, скрип полозьев по снегу. Где-то рядом остановились сани.

В одной шубе появляются Пушкин и Устрялов. Пушкин немного хмелен. Схватившись за фонарь, сбрасывает с себя край шубы. Шуба повисла на плече Устрялова.

Пушкин. Благодарствуйте, сударь мой. Я почти и дома.

Устрялов. Не угодно ли, чтоб я до самых дверей вас проводил, коли вы подъехали не захотели?

Пушкин. Не угодно. Хочу с фонарем побывать. Я, когда вечерами прогуляться выхожу, воображаю себя тенью от этого фонаря.

Устрялов. Да ведь тень и темна и плоска.

Пушкин. Темен я от природы, а в наш век, коли сам плоским не станешь, -- расплющат. Вот и воображай себя тенью от фонаря.

Устрялов. Грустно размышлять изволите, Александр Сергеевич.

Пушкин. Мы разве знакомы? Простите великодушно, да я... запамятовал.

Устрялов. Незнакомого, да еще без шубы, я бы к себе в сани не подсадил. Но не казните себя, знакомство наше только с одной, с моей стороны. Я-то вас знаю!

Пушкин. Не откажите назвать, кому я обязан теплом и проводами?

Устрялов. Экстраординарный профессор Санкт-Петербургского университета Николай Герасимович Устрялов.

Пушкин молчит.

(Полагая, что недостаточно представился.) Покровителем моим, графом Сергеем Семеновичем Уваровым, был представлен его величеству первый том моей «Русской истории», и коли вы изволите пробегать глазами «Санкт-Петербургские ведомости», то пятого января сего года профессор Устрялов получил монаршее благоволение за сей том.

Пушкин. Да-да, пробегал глазами, да споткнулся и чуть глаз не вывихнул.

Устрялов. Александр Сергеевич!

Пушкин. Боле того: и «сей том» я прочел. Каждого царя вы что икону пишете и тут же сами молитесь на нее до расшибания лба.

Устрялов. Не вижу беды в том, что каждого помазанника превозношу до сияния вокруг головы.

Пушкин. Беда в другом, Устрялов: что ваше писание икон не Рублевым подарено.

Тягостная пауза.

Устрялов. Да не холодно ли вам, Александр Сергеевич? А то возьмите край шубы.

Пушкин. Извольте! (Накидывает на себя половину предложенной шубы.)

Устрялов. Жаль, что разговор наш таким лабиринтом пошел. Нас нынче случай свел, а я к вам собирался с предложением. Жаль-жалъ.

Пушкин. Предлагайте, профессор.

Устрялов. Что ж! И предложу. Мы с вами историографией занимаемся, да все в старь лезем. А не написать ли нам совместно историю нынешнего времени, а?

Пушкин (не без иронии). Нынешнего царствования, а?

Устрялов (не заметив иронии). Поправка дельная! Славная поправка, Александр Сергеевич!. (Высвободившись из шубы, взеволнивши прошелся, потер руки.) Может статься, мы уже и труд свой начали с вашей поправки?.. «Нынешнего царствования»!.. В корень смотрите, Александр Сергеевич. При таком обороте государь и редактуру самолично станет держать. А как же-с: нам виднее его действия, ему — его помыслы... Я на себя возьму первый том. Да, да, не спорьте, я понимаю вашу человечность писать об четырнадцатом декабре. Много друзей ваших стояло тогда перед Сенатом, вам невозможно истинно об них написать. А вы на себя возьмете период с тридцатого года по сей день. Тут уж, как говорится, вы в милостях пребывали, камер-юнкерством удостоены были.

Пушкин (продолжая ироничную игру). Честь-то велика, Устрялов.

Устрялов (серъезно). Велика, не спорю. Я в зависти к вам, да завидую по-хорошему. Вы сами где-то изволили заметить, что «зависть — сестра соревнования», значит — хорошего рода».

Пушкин. Да хороша ли зависть к камер-юнкерскому мундиру?

Устрялов (дрожа то ли от холода, то ли от волнения). Хороша, Александр Сергеевич, хороша!..

Пушкин. Идите-ка в шубу, профессор, у вас зуб на зуб не попадает...

Устрялов (накинув на себя край шубы). Ну как, Александр Сергеевич, по рукам?

Пушкин. Нет, Устрялов: я и по России и по Третьему отделению числюсь без соавторов. Почитаю долгом еще раз благодарить вас за шубу и проводы, но я вам не союзник.

Устрялов (помолчав). Понимаю. Понимаю небрежение птицы борзайской к воробью. Я не в обиде. Понимаю также, что благородной к воробью. Я не в обиде. Понимаю также,

намеренность трудов моих вы не более чем словесной водицей почитаете. А коли этой водицей и разбавить спирт служебий ваших? Напиток-то получится как раз для России: он и акцизному вилю и государь не побрезгует пригубить. Да и граф Уваров забыл бы вашу стародавнюю энigmatу, коей он чувствительно задет был.

Пушкин. Так вот каким ветром вас ко мне поднесло!

Устрялов. Я не чепок утлы, чтобы крутиться с ветром, я — профессор, Александр Сергеевич! Я по совести, по долгу гражданскому к вам собирался, а не по чьему-нибудь высшему наущению, как вы меня заподозрили изволили!

Пушкин. Воистину, от Ломоносова до Устрялова. В пропасть летим, профессор, а?

Устрялов. Вы меня Ломоносовым не корите! Он — десьян академик, одиночка, а мы — профессоры ординарные. «Ординарные»! Вдумайтесь в сие слово, в его смысл. А?.. То-то! Но все же «профессоры»! Сила, и не только над студьюзусами: труд-то ваш исторический мне, историку, судить отдаут. Для вас, литератора, сие любительство, а профессор над вами — я-с!

Пушкин. Устрялов! Профессор! Глупости изволите говорить!

Устрялов. А профессорская глупость все равно ученоостью почитается. Она ведь профессорская!

Пушкин (расхочавшись). Браво!

Устрялов. Так не согласны?

Пушкин (продолжая смеяться). Нет.

Устрялов (в нем начинает прорываться сдерживаемое до сих пор раздражение). А вам бы не заноситься, Александр Сергеевич, надо, а прощения у людей просить!

Пушкин. Да в чем же я повинен перед людьми?

Устрялов. Талантом! Великим талантом вашим! Да-с! Ипкви-зиция не еретиков сжигала, а таланты великие. И права были: талант — он сам себя не осознает, он прежде всего чудеса рождает и прочих в смущение вводит: где, к примеру, мне вас догнать? Задохнусь!.. Вы и видите все иначе, и шествуете, что Христос по водам, там, где и пути нет. По

инквизиции так и было: запесся — стань прахом, тем и прощен будешь!

Пушкин. Что ж, по-вашему, и Христос еретик?

Устрялов. Нет-с, талант. Вот и распяли. Посредственности-то больше, Александр Сергеевич, а коли больше, так и правоты в нас больше...

«Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?

Подымет ли он тем искусство? Нет!

Оно падет опять как он исчезнет...

Что пользы в нем? Как некий херувим,

Он несколько запес пам песен райских,

Чтоб, возмутив бескрылос желанье

В нас, чадах праха, после улететь!

Так улетай же! Чем скорей, тем лучше!..»

Низкий поклон вам за эти слова вашего же Сальери!

Пушкин (несколько растерян напором Устрялова). Да ведь там есть еще и слова Моцарта!

Устрялов. Уж извините, читателю вы не указ, что ему брать из трудов ваших! Что мне Моцарт! Вы мне Сальери подарили. Вы дали право посредственности плюнуть в лицо гению, и я взял с благодарностью от вас это право. И воспользуюсь им при первом же случае, дабы утвердить прогресс, а не развитие мысли рывками от случайно рожденных гениальностей! А то что получается? Когда графу Риваролю доложили, что Вольтер пишет с ошибками против орфографии, Ривароль ответил: «Тем хуже для орфографии!..

Пушкин (усмехнувшись). Вот бы графу Уварову с какого графа пример взять.

Устрялов (топнув ногой). Нет-с! Сие быть не должно! Орфография всем закон! Вас, жар-птиц в пебе,— одна, две на столетие, а нас, воробьев трудолюбивых, зерно собирающих, туча. При надобности мы и жар-птицу скроем от глаз людских, никто и не приметит, что она пролетела.

Пушкин. А вы страшненький!

Устрялов. Да ведь у вас и русский царь — буква. И заметьте,

Александр Сергеевич, просвещение — сиречь, свет! — на Руси не за вами, а за графом Уваровым. А он жар-птицам не покровитель, особливо тем, что эпиграммы роняют заместо золотого пера. Честь имею-с!.. (Взяв от Пушкина шубу, резко поворачивается и уходит.)

За сценой раздраженный крик Устрялова: «Пошел!» — и глухой, по снегу, замирающий топот копыт.

Пушкин (прислонившись к столбу, обхватил его рукой). Слепцы на Руси лампами ведают!..

Появляется Жуковский, кидается к Пушкину.

Жуковский. Александр! Умоляю тебя! Где ты пропадал?.. Я только от Натальи Николаевны: она ума решилась.

Пушкин (прикладывает палец к губам). Тсс!..

«Три дня купеческая dochь

Наташа пропадала,

Она на двор на третью ночь

Без памяти вбежала.

С вопросами отец и мать

К Наташе стали приступать,

Наташа их не слышит,

Дрожит и еле дышит...».

Жуковский. Ну, коли ты «Наташей» решил обернуться, я обернусь «отцом-с-матерью»! Дрожишь ты от холода. (Сняв шубу, накидывает ее на Пушкина.) А «еле дышишь» оттого, что зело нетрезв.

Пушкин. Обернулся-то ты не «отцом-с-матерью», а славянофилом, Василий Андреевич: «зело нетрезв»! Ну, куда это годится?

Жуковский. Яйца курицу учат!

Пушкин. «Победителю ученику от побежденного учителя»!.. Расписался на всю жизнь на моем «Руслане», терпи! (Скинув шубу, отдает ее Жуковскому.) Гляди, простудишься.

Жуковский. А ты?.. Вон и снег пошел.

Пушкин (подставляет ладони под снежинки). Какой спег, Василий Андреевич? Шутник же ты! Яблоневый цвет летит. Есть одна такая ночь в зиме, когда всевышний вместо снега яблоневый цвет на землю роняет. Только испокон веку на ту ночь все люди спали. Нам первым радость выпала яблоневый цвет зимой подглядеть. Пахнет-то как, а? Дурман!

Жуковский (растерянно). Ты об чем, Александр?

Пушкин. Все об том же: слепцы на Руси лампами ведают!

(Смотрит на недоумевающего Жуковского.) Жуковский! Царедворец! Я тебя люблю! (Пытается повалить его в снег.)

Жуковский. Александр! Что за мальчишество? Я же статский советник!

Пушкин. Да еще при особе государя. Вались, слава отечества!

(Кидает его.)

Жуковский (встает, отряхивается). В эти три дни государь дважды об тебе спрашивал.

Пушкин. Выходит, в один день из трех я был свободен? (Хочет.)

Жуковский. Твоя шутка падменна, я не смеюсь ей.

Пушкин (перестав смеяться). Я тоже. Извили за кураж, Василий Андреевич. Я не пьян.

Жуковский. Что ж столб обнимал?

Пушкин. И столбу падобно, чтоб его кто-нибудь обнял.

Жуковский. Обопрись на меня, я тебя доведу.

Пушкин. Не надобно. Я просто куражился.

Жуковский. Чувствую, каламбур в тебе зреет: «В России Пушкину и опереться не на кого, разве что на столб фонарный». Так то неверный каламбур, и не острословный.

Пушкин. Тем более что ты сам его и выдумал. (Зябко покривился.)

Жуковский накрыл его половиной шубы.

Жуковский (конфиденциально). Давеча, за завтраком, государь обмолвился, что камергерской лентой собирается тебя пожаловать... Ну? Рад?

Пушкин. Нет.

Жуковский. Бог с тобой! Не вздумай отказать государю в его милости. У меня виски начинает ломить, когда я думаю о твоих сумасбродствах. Ну чем, чем государь тебе не угодил? Тем, что хочет пожаловать тебя голубой лентой с золотым ключом?..

Пушкин. Золотым символическим ключиком сердце мое отпирать и запирать хочет по своему монаршему благоусмотрению!

Жуковский. Да! При начале своего царствования он тебя себе присвоил! Да! Он отворил руки тебе в то время, когда ты был раздражен пессимистической ссылкой! Да! Чувство благодарности к государю должно пакоще саться в тебе с поэзией! Зачем ты не хочешь принадлежать славе царствования Николая, как Державин принадлежал славе Екатерины, а Карамзин — Александра?..

Пушкин. У меня с государем спор внутренний и непоправимый: я хочу петь и писать человека, а он хочет, чтобы я пел и писал верноподданного. Спор простой, как подкова, да ее не разогнуть ни мне, ни ему.

Жуковский. Ведь ты силач, Александр. Попатужься и разогни.

Пушкин (усмехнувшись). Николай Павлович посильнее меня. Что ж ему не предложишь?

Жуковский. Как я предложу государю перестать быть государем!

Пушкин. А мне предлагешь перестать быть Пушкиным?

Жуковский. Не гордись, Александр! Пушкин еще не легенда, Пушкин еще сам — жив, спречь — верноподданный. Куда денешься от России?

Пушкин. В Россию, Василий Андреевич.

Жуковский. В петровскую Россию тебе не сбежать, это я понял.

Пушкин. А я в будущую Россию удеру! Чем плохо?

Жуковский. Да тем, что ее пока нет.

Пушкин. Про то не нам судить, Василий Андреевич! Про то уж рассудили четырнадцатого декабря друзья наши. Я теперь понимаю их стояние перед Сенатом. То было бегство в века,

исход светлых мыслей наших в грядущее. Бежали, бежали от «превосходительной» жиности ума и плац-учений на патриота! Вон, Рылеев по способностям мог сделать отменный карьер, в сенаторы выйти, блестать звездами на груди... Ушел просто Рылеевым. Все ушли так! Пестель — Иестелем, Каховский — Каховским. С лишением чинов и званий, одной сутью своей к потомкам ушли! И слава богу, они явят век наш перед потомками, а не Устриловы да «Фиглярины». И я хочу — просто Пушкиным! Но Пушкиным — мне просто не позволяют. Государь твоим камергерством меня что к степе прижал: распинь и лги! Величай и сам величав будешь! А я хочу просто Пушкиным. Просто! По совести, чести и таланту, сколько бог дал.

Жуковский. Государь на тебя надеется!

Пушкин. А Россия верит мне. Кого я обмануть должен?

Жуковский. Ты что заряженный пистолет! Тебя разрядить надобно.

Пушкин. Погоди, ужо разряжусь! (Усмехнулся.) И старый, о вечных своих тридцати семи годах, приду в будущее задавать загадки.

Жуковский (встревоженно). Почему о вечных тридцати семи годах?.. Ты что, то попосное письмо послал Геккеренам?.. Ты же обещал мне! Ну?.. (Трясет его.) Что молчишь? Зачем обмолвился о вечности?..

Пушкин. Однако ты весь хмель во мне встряхнул! Эко дело вечность! Что вечно у нас, Василий Андреевич?

Жуковский (несколько успокоенный его миролюбивым тоном). Снега, мой милый. Снега и наスマрки.

Пушкин. Нет, Жуковский, нет! Руки в пас вечны. Они могут и отчество спасти, и праведную голову отсечь. Одни и те же, Василий Андреевич, заметь, одни и те же! И Летний сад раскинуть для усадьбы санкт-петербуржцев, и Петропавловскую сложить для их же острастки. Руки, Василий Андреевич, руки!

Жуковский. Чепуху песень, Александр! Руки — голова царь. Без повеления головы руки твои что плети висеть будут.

Пушкин. Ох, Василий Андреевич! Неумелым рукам-то никакая голова не указ. Умелы руки наши, ох как умелы! И на стихи, и на доносы, и на отсечение голов.

Жуковский. Непотребно говоришь, панта!

Пушкин. Пинты не говорят, пинты глаголят. О славе рук наших глаголю, Василий Андреевич, о славе и позоре рук наших.

Жуковский. Что ж ты, душа моя, гими рукам поешь, а сам писал: «Я памятник воздвиг себе перукотворный»? Изволь либо строку переменить, либо разговор сей окончить.

Пушкин. Нет, строку менять не стану.

Жуковский. И зря! Николай Павлович эти стихи твои в печать пустить хочет. Разговор у меня об том с ним был.

Пушкин. Неужто?..

Жуковский. Разумеется, с правкой. Да она уж и случилась.

Пушкин. Кто правку держал?

Жуковский. Я.

Пушкин. Что поправил?

Жуковский. Ну, пойми, пойми — нельзя сегодня так сказать россиянам: «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа!.. Александр Павлович Наполеона победил, за то и столп ему перед Зимним от благодарной России. Твоя-то слава не выше венценосного победителя! Нескромно, да и... не патриотично, если хочешь.

Пушкин (холодно закипая). Как поправил?

Жуковский.

«Вознесся выше он главою непокорной Наполеонова столпа».

Есть такой столп. В Париже. Все не наш!

Пушкин. Что еще?

Жуковский.

«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу»...

Пушкин. Как теперь?

Жуковский.

«И долго буду тем пароду я любезен,
Что чувства бодрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен»...

Пушкин (*помолчав*). Василий Андреевич! Я в твою чернильницу не лезу, не залезай и ты в мою! Прости на резком слове. Жуковский. Ну поступись хоть малостью!

Пушкин. Такой малостью — значит, всем поступиться.

Жуковский (*оставив шубу на плечах Пушкина, взъяренно зашагал*). Ты сам, сам кузнец своих несчастий! Ты их выковываешь терпеливо, упорно, узорчато! И к друзьям своим ты неблагодарен, а они тебе добра хотят! Друзья о жизни твоей заботятся!

Пушкин. Благодарю, но черт ли в этакой жизни? Что твоя, что Петра Вяземского дружба входит в заговор с тиранством, сама берется оправдать его, отвратить мое негодование!

Жуковский. Да что ж ты па друзей кинулся? Друзья не врачи, коли с друзьями поссоришься, надо мириться!

Пушкин. Смириться, а не мириться, Василий Андреевич! С друзьями смириться надо. Ты прав: друзья не врачи, им картель не пошлешь. Вот и смиряйся. Друзья!

Жуковский. Ах, как нескладно!.. Ну да пойдем в дом, договорим в тепле.

Пушкин. Я с фопарем хочу побывать.

Жуковский. Шуба-то у тебя в доме еще есть?

Пушкин. Есть. Я в большой был, вели Никите принести малую. А свою возьми. (*Отдает Жуковскому шубу, тот уходит*.)

Появляется Николай Павлович, совершающий вечерний мюзикон. Заметив Пушкина, останавливается подле него.

Николай. Где пропадал три дни?

Пушкин. В черных кабаках, государь. Записывал песни от ламповщиков вашего величества.

Николай. А шуба?

Пушкин. Видно, привезут: я бежал от обильных яств и возлияний водочных.

Николай. Да ведь простынешь! Возьми половину моей. (*Прокрывает Пушкина*.) Нам бы с тобой, Пушкин, так вместе и идти. А ты все в лес глядишь.

Пушкин. Я не волк, ваше величество.

Николай. Что ж к вольчым местам тянет, в деревню зимнюю просишься? То-то. (*Помолчав*.) Знаю, что не волк, потому и держу при себе.

Пушкин. Да ведь я и не собака!

Николай. Не дерзи мне! Я сердиться на тебя не умею, сам знаешь. Не пользуйся этим.

Пушкин. А коли не в деревню, а в Париж опять попрощусь?.. Александр Тургенев сказывал, там документов эпохи Петровой множество. Кое-что он переписал, а остальные еще таятся.

Николай. Ах, Пушкин! Посуди сам, как мне тебя в Париж пускать? Париж город сладостный, а ну как твоя душа и прельнет к нему? Недаром один поэт — не припомню кто, да помню, французский — сказал: «Отечество там, где душа закрепощена».

Пушкин. В таком случае, государь, вашему величеству не след опасаться: Россия есть отечество по преимуществу, в ней закрепощенных душ — сиречь крепостных — и не перецехсть!

Николай. Да когда же ты наконец перестанешь быть эпиграммой, а станешь поэмой? Когда петь начнешь, а не злословить? В тебе светоч российской поэзии живет. Такой светоч — государству просвещение, коли умелые руки фитиль подправлять будут да нагар вовремя снимать.

Пушкин (*усмехнувшись, про себя*). Слепцы на Руси лампами ведают!

Николай. Ты что там бурчишь под моей полой, а? Опять какую-нибудь эпиграмму?

Пушкин. Нет, ваше величество, строку из песни.

Николай. Об чем песня?

Пушкин. Об России, государь.

Николай. А строка?

Пушкин. Та, которую из песни не выкинешь.

Николай. Ну, хоть не эпиграмма, и то довольно! За ум-то возьмешься?.. Ты Жуковского повидай. Коли примешь его редакцию своего «Памятника» — допущу в издание. Ну, ну, не благодари, ступай в дом. А то, я чаю, у тебя уж и нос залег. (*Отходит от Пушкина, останавливается, как бы вспомнив.*) Да.. Я уж и титульный лист к труду твоему велел заказать: «История Петра Великого, сочинение Александра Пушкина, графа и камергера».. (*Идет к мостику и — еще раз, обернувшись.*) Графа и камергера... Ты со мной дружи! (*Уходит.*)

Пушкин. Александр Пушкин, росту два аршина четыре вершка, голубоглаз, рус, бороду бреет, граф, камергер, и... «долго будет тем народу он любезен, что чувства бодрые он лирой пробуждал, что прелестью живой стихов он был полезен»...

Тихо подошла Натали с шубой в руках.

(*Не заметив ее, рванул на себе ворот.*) Пора!..

Натали. Уж три дни, как пора! (*Накидывает на него шубу, побабы припадает к плечу.*) Мне Жуковский сказал, что ты у фонаря куражишься.

Пушкин (*не оборачиваясь, потрепал ее по руке*). Прости, женка. Загулял.

Натали. Бог простит.

Пушкин. А ты?

Натали. И я за ним.

Пушкин (*помолчав*). Наташа...

Натали. Что, милый?

Пушкин. Ты... за меня от любви пошла?

Натали. Что ж через шесть лет спрашивать? Мог бы и тогда спросить.

Пушкин. Тогда страшно было. Пошла за меня, и довольно. Думал, моей страсти к тебе станет на нас двоих. Ну?.. Что ж теперь молчишь? От любви пошла за меня?

Натали. Нет. (*Улыбнулась.*) Ты мне просто иного выхода не дал! Сперва я тебя терпела...

Пушкин. А потом?

Натали. Потом стала узнавать о тебе попаслыше, от других. То князь Петр Андреевич поздравит с каким-то новым пушкинским чудом, то Жуковский. Я с первых выездов поняла, что красавица. А нашлись люди, которым я стала хороша не сама по себе, а стала хороша Пушкиным. Не скрою, это я поняла с удивлением и начала считать тебя частью моей красоты, примерять «Пушкина» к своему лицу, шляпке, пальто, чтобы шел ко мне... О, поздравления с твоими новыми стихами я принимала с достоинством! Грешна, тогда я их и не читала, но следующему собеседнику повторяла то, что говорил мне об них предыдущий... Из моих уст Виельгорский почтительно выслушивал мнение Вяземского, отправлялся исказать тебя и, поди, поздравлял с женой-умницей!..

Пушкин рассмеялся.

Жуковскому я уже говорила то, что успела узнать об твоих стихах от Виельгорского. А тебя самого, дома, судила словами Жуковского. Прости, при выездах «Евгений Онегин» стал мне вместо жемчужного оклада вокруг шеи... Не так давно я впервые сбросила перед тобой мою красоту, стала дивиться движениям твоей души, чувствам и... влюбилась. У меня не было романа с женихом, у меня он случился с мужем.

Пушкин. Да. Трудно бывает понять свою любовь, когда она — дом, дети, долги...

Натали. Я поняла.

Пушкин. Благодарствуй на том. (*Помолчав.*) Зачем же Данте?

Натали. Жорж блестищ и неглуп, в его словах я любуюсь собой, точно в зеркале. Какая женщина не повернется перед зеркалом?.. Сказывают, Катерина Андреевна Карамзина тоже когда-то вортелась перед тобой, юношем. А Карамзин был жив. И ревновал.

Пушкин. Да. Карамзин был жив. И ревновал. Поди, друг мой. Я скоро.

Натали. Ты ляжешь в спальной? Или я велю постлать тебе чистое в кабинете?

Пушкин. Вели чаю согреть.

Натали. Хорошо.

Пушкин. Прости меня! Ты ни в чем не виновата.

Натали. Я знаю. (Уходит.)

Пушкин. Прости и ты, Василий Андреевич... Прости... Мечтал я о диалоге со временем, а время вместо того меня к дуэли привело. Да ведь чем не диалог? Барьера шубы, и — «Сходитесь, господа!» Для самого короткого диалога на свете: собеседники обмениваются всего лишь двумя точками. И цензор не придерется!..

Шуба скользнула с пушкинского плеча, легла к ногам. Пушкин стоит во фраке у шубы, как у барьера. Все будет так через несколько дней, на Черной речке. Но Пушкин уже в мыслях перед воображаемым противником. В голосе его появляются изdevательские нотки.

...Дантес, голубчик, ты красив неправдоподобно! Ты и теперь улыбаешься — по привычке, для показа красивых зубов!.. Иро тебя, мой милый, можно отдать команду: «Господа гвардия! На красоту поручика Дантеса — равняйся!..» Ага, ты побледнел, правофлаговый гвардейской красоты! Ты прикидываешь, а можно ли отдать команду: «Господа Российской Словесности, на чиновника десятого класса камер-юнкера Пушкина — равняйся!» Нет, кавалергард, нельзя: чтобы Российской Словесности равняться на камер-юнкера Пушкина, ей еще надо био голову задирать!.. О, я знаю, ты выстрелишь, не дойди до барьера. Я вижу, как напряглась твоя рука... (Подался вперед.) Ты все-таки трус, Жорж Дантес де Геккерен!.. Трус и негодяй!.. Ну?!

С треском лопнуло фонарное стекло. Масляный огонь взметнулся и опал. Пушкин вздрогнул, точно от выстрела. Выпрямился. Поднял правую руку, словно сжимая в ней рукоятку пистолета. Но стиснутый кулак разжался. Пушкин держит руку ладонью вверх, ловя снег.

...А знаешь: не велеть ли в сапки
Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня...

Глухость-то какая! Через две строки «кобылка» «конем» обернулась! Слава богу, и строкоед Жуковский не заметил. Надо бы исправить... Да теперь уж — когда?.. (*И, как бы продолжая спор с Николаем Павловичем, говорит, ударяя на слова, неугодные государю, оставил и тут за собой последнее слово.*)
Нет, долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал!..

Конец

1970 г.